

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ПОДЛИННЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ ЩЕДРИНА, НАПЕЧАТАННОЙ
С ЦЕНЗУРНЫМИ КУПЮРАМИ И ИСКАЖЕНИЯМИ В СЕНТЯБРЬ-
СКОЙ КНИЖКЕ «СОВРЕМЕННОКА» ЗА 1863 г.

Предисловие и комментарии В. Невского

ЩЕДРИН И ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863 г.

Публикуемый нами документ, обзор М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» («Современник» 1863 г., кн. 9), представляет огромный интерес не только потому, что он печатается без купюр, сделанных по воле царской цензуры, но и для разрешения важного вопроса, если не целиком, не полностью, то во всяком случае в той его части, которая дает возможность нащупать ту почву, стоя на которой можно увереннее и решительнее пойти и к более полному решению задачи. Вопрос этот заключается в следующем: что за позицию занимал Щедрин в той борьбе, какая происходила в 60-е годы прошлого века на российской общественной арене? Вопрос этот следует понимать не только в том смысле, что Щедрин стоял на правом или левом фланге борющихся сил (уже одно участие его в «Современнике» 1863 г. показывает, на каком фланге он стоял), а в том, чтобы определить, какова его позиция была именно на этом левом фланге борцов, чьи интересы он здесь защищал, к кому он больше склонялся именно здесь, какую политическую линию он отстаивал. Разрешая этот вопрос, мы тем самым подойдем и к решению более важного, главного вопроса о природе тех социально-экономических взглядов, какие характеризуют мировоззрение великого русского сатирика. Быть может всего главного вопроса не решим, но к решению его подойдем. А что действительно это так, явствует из того, что рассматриваемое нами обозрение «Наша общественная жизнь» за сентябрь 1863 г. касается самых жгучих политических проблем того времени — отношения различных классов русского общества к польскому восстанию и в связи с этим взаимоотношения «отцов» и «детей». И в этом обозрении, как и в предыдущих обозрениях за январь и февраль того же 1863 г., эта проблема взаимоотношения отцов и детей действительно и составляет главную тему рассуждений Щедрина. Печатаемое нами обозрение принимает еще больший интерес потому, что мы имеем теперь конец обзора за январь—февраль, в свое время запрещенный цензурой (отсутствие места не позволяет опубликовать его здесь).

Хотя в то время, когда Щедрин писал свои обзоры, реакция была уже фактом (нельзя забывать, что как раз в это время окончательно была разгромлена революционная организация «Земля и воля», а Н. Г. Чернышевский уже более года сидел в тюрьме, однако в городах и селах Польши еще кипело революционное движение и восставшие энергично боролись с царскими войсками).

Нечего говорить, что не только явно реакционные, махровые органы вроде «Московских Ведомостей» жаждали польской крови, но и такие газеты, как славянофильский «День», на словах отстаивавший свободу и крестьянские интересы, а на деле стоявший за прусский путь развития, т. е. в конце концов за закабаление крестьянства, метал громы и молнии против восставших поляков.

Требую сначала добровольного соглашения русского правительства с восставшей Польшей, над чем так смеется Щедрин, «День» докатился в конце концов до позиции «Московских Ведомостей»: приходил в ярость от попыток европейских держав решить вопрос о Польше на конгрессе, утверждал, что народ русский против революционеров, и чуть ли не пропагандировал всенародный поход против поляков.

«Пламя польского восстания обхватило или обхватывает, кажется, все польское шляхетское население Западно-русского края и вызывает, в отпор себе, сопротивление русского крестьянского населения. Это уже не встреча войска с войском, а народа с народом, угнетенной русской народности с привилегированной польской», писалось в передовице «Дня» от 11 мая 1863 г.

Один из сотрудников «Дня» Л. Оптухин например в статье, помещенной в номере от 16 марта 1863 г., дописался до проекта собрать пожертвования от помещичьих излишков и выкупить недвижимые польские имущества в западных губерниях.

«Скликайте, — вопил «День», — как в 1812 году, не одни только внешние и вещественные силы, но и силы русского духа, русской мысли и слова» (№ 21 за 1863 г.).

Славянофилы, как и ярые реакционеры, смертельно испугались того буржуазно-демократического движения в 1863 г. в Польше против самодержавия, которое Ленин вслед за Марксом считал безусловно прогрессивным явлением не только со всероссийской, но и с общеевропейской точки зрения.

«...Для эпохи 40-х и 60-х годов прошлого века, — пишет Ленин, — эпохи буржуазной революции в Австрии и Германии, эпохи «крестьянской реформы» в России, эта точка зрения (К. Маркса и Ф. Энгельса. — В. Н.) была вполне правильной и единственно последовательно демократической и пролетарской точкой зрения. Пока народные массы России и большинства славянских стран спали еще непробудным сном, пока в этих странах не было самостоятельных, массовых, демократических движений, ш л а х е т с к о е освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и всевропейской» (Соч., 3-е изд., т. XVII, стр. 457).

Известно, что «нигилисты» во главе с Н. Г. Чернышевским отнеслись не только сочувственно на словах к восставшей Польше, но что многие из них были связаны с ней и на деле. Не только М. А. Бакунин, пытавшийся принять участие в восстании и доставить полякам оружие, но и Н. Г. Чернышевский, в момент восстания в 1863 г. уже сидевший в Петропавловке, раньше косвенно участвовал в подготовке этого движения: он был связан с «Землей и волей» Серно-Соловьевичей, а «Земля и воля», как известно, была тесно связана с руководителями восстания.

М. Е. Щедрин в 1863 г. работал в том самом «Современнике» Н. Г. Чернышевского, который уже сидел в тюрьме, но роман которого «Что делать?» как раз в этом году печатался на страницах журнала.

Спрашивается, какова же позиция Щедрина в этом главном, основном вопросе момента? На чьей стороне его симпатии? Само собой разумеется, что они не на стороне «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника», не на стороне «Дня», «Нашего Времени» и тогдашних «Отечественных Записок». Как увидит читатель, он зло издевался и над «Московскими Ведомостями», и над «Русским Вестником», над Катковым, над славянофильскими завываниями «Дня», над всякого рода либералами и вообще над «жадными стадами литературного воронья», «темными духами», когда-то осмелявшимися и опозоренными и вследствие этого скрывавшимися на дне горшка». Больше того: издеваясь над «чревоугодничеством» этих «темных духов», он глубоко убежден, что их время скоро пройдет, прояснится небо «и все эти пузыри лопнут, все эти белые здоровенные дождевики позеленеют и обратятся в прах». Значит не может быть сомнения, что Щедрин ни в каком случае не разделял всех тех взглядов, какие высказывались на страницах «Дня» и других аналогичных органов, направление которых можно характеризовать как ставку на прусский путь развития. Стало быть... и Щедрин, подобно Н. Г. Чернышевскому, был против этого пути: и стоял за революционный путь? Что он был против прусского пути развития, видно из всех его издевательств над бо-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ Е. ЖАКА К СКАЗ-
КЕ ЩЕДРИНА «НЕДРЕМАННОЕ
ОКО», 1932 г.



лее яркими аргументами и взглядами сторонников этого пути. Это явствует уже хотя бы из разоблачения знаменитого адреса студентов.

Но, будучи против этого пути, стал ли он на путь революционный? Попытаемся найти ответ у него самого.

«Да, — пишет он, — много вреда принесла за собой польская смута для той части русского общества, которая жаждала только спокойствия, чтобы развиваться и воспитывать себя к той свободе, которая одна представляет прочный и плодотворный залог будущего преуспеяния. Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели, как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление»... (Подчеркнуто мною. — В. Н.)

Если заменить слово смута, употребленное Щедриным по цензурным соображениям, словом революция, то все же основной факт остается фактом: Щедрин считает восстание в Польше вредным и полагает, что оно на время сообщило фальшивое и бесплодное направление народной деятельности и, в частности, литературной.

Само собой ясно: такое заключение показывает, что Щедрин далеко не считал восстание в Польше прогрессивным явлением. Высказываясь против «конституции» Каткова, против всяких чревоугоднических завываний Оптухина и его компании, он однако высказывается и против революционного пути развития.

Несомненно также и то, что Щедрин на стороне молодого поколения, тех нигилистов, у которых идет, по его выражению, «непрерывный процесс» с «темными духами», считающими молодежь изменниками и предателями: иначе как объяснить ту горячую защиту молодежи, какая выливается у него так искренне из-под пера? Это несомненно. Но обращаясь ближе к рассуждениям Щедрина о молодежи (или, как он называет,

мальчишестве), мы прежде всего убеждаемся, что он с надеждой смотрел именно на молодежь как на единственную прогрессивную силу. Это молодое поколение он считал не только единственно прогрессивной, но и очень большой силой. Только благодаря этой силе лучше жить на свете, только она рассеивает миазмы реакции и вселяет уверенность, что и «то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром»⁶.

Кажется ясно. Но когда мы обращаемся к задержанной цензурой части статьи Щедрина, то мы точно так же, как и выше, легко убеждаемся в том, что Щедрин против тактики этой революционной молодежи.

Ход его рассуждений таков. Есть две тактики: одна действовать, растрачивая силы зря; другая — действовать осторожно, по строго обдуманному плану. Первого рода тактика допустима только в случае избытка сил. Но такого избытка сил у молодежи нет, и молодежь это понимает. Но понимая это, имея свои прекрасные идеалы и осуждая все старое и сгнившее, молодежь решительно отрывается от жизни, и таким образом мальчишество «само себя уединяет, само отталкивает от себя союзников». А отталкивая от себя союзников, молодежь остается только с одними своими идеалами, и ей приходится либо сидеть с одними этими идеалами, либо идти к толпе. Но «надобны сверхъестественные силы, чтобы увлечь толпу». Их нет, сверхъестественных героев тоже нет, и молодежи приходится воздерживаться. Воздержание — тоже огромная сила, но чтобы она могла стать такой силой, необходимо, чтобы она была не единичным, а массовым, таковым же оно может стать только после длительной и тщательной подготовки.

«Мальчишек губит,— говорит Щедрин,— себялюбивая брезгливость мысли. Ставши на высоту отдаленных идеалов, они забывают, что у масс на первом плане стоит требование насущного хлеба. Скажу более: презрение к массам слышится в этом высокомерном отношении к массам. Чувствуется, что здесь массы представляют нечто постоянное, а здесь дело не о счастье и успокоении их, а о торжестве той или другой идеи, для которой массы нужны не более как в качестве *anima villis*, т. е. для производства над ними всякого рода операций».

В этих рассуждениях Щедрина как будто бы слово в слово повторяются те упреки славянофильского «Дня», которые посылались нигилистам за то, что они не знают жизни народной и презирают народ. «День» дошел даже до того, что предположил, будто именно нигилист-материалист, добившись власти, превратился бы в самого страшного деспота. Буквально такой же мыслью кончает Щедрин свои рассуждения о мальчишестве.

«Массы,— пишет он,— сами желают устроить свою жизнь и до поры до времени требуют от вас одного: отгоняйте тех, которые мешают им, а паче всего не мешайте сами», а «вы провозглашаете себя обладателями секретов и жалуетесь на несправедливость судьбы, связавшей вам руки. Не будь этого последнего условия, вы, пожалуй, с наименьшей бесцеремонностью попытались бы прилагать целебные свойства ваших секретов, вы, пожалуй, готовы были бы задушить того грубияна, который нашел бы лучшим для себя обойти вашу лавочку и обратиться за исцелением к иным шарлатанам».

А вот как выражается славянофильский «День»:

«Поставьте во главе управления человека, отвергающего достоинство духа человеческого и нравственное движение к человеческой личности, и вы увидите, что он явит в себе такого деспота, пред которым поблещут все деспоты древних и новых времен».

По славянофильскому «Дню» нигилист, захвативший власть, превращается в самого страшного деспота, по Щедрину мальчишество, навязывающее народу секреты его спасения, душит народ, если он отказывается принять эти секреты, и стало быть тоже превращается в деспотию.

По славянофильскому рецепту спасение России не в перевороте, а в мирном переорождении, по демократу Щедрину, отвергающему прусский путь развития, революция

в Польше принесла страшный вред и сообщила всей деятельности фальшивое и бесплодное направление; по славянофильскому «Дню» нужно изучать нужды народа и не навязывать ему свои идеалы, по демократу Щедрину нужно не изолировать себя от жизни, наполненной «темными духами», а, изучая эту жизнь, медленно накапливать избыток сил, дабы, выработавши план, двинуться на духов тьмы.

В чем же дело? В том, что взгляды Щедрина совпадают с мнениями славянофильских публицистов «Дня»? Конечно нет. О таком совпадении не может быть и речи, как не может быть речи и о том, что взгляды и убеждения Щедрина 60-х годов были уже далеко не те утопические мнения, какие он разделял, следуя за Петрашевским (утопический социализм Сен-Симона, Луи Блана). Ведь не случайно, печатая роман Чернышевского «Что делать?», Щедрин не разделял идей и положений этого произведения. Не случайно также и то обстоятельство, что, будучи вице-губернатором в Рязани и получив прокламации «Великорусса», Щедрин отправил их в III Отделение, где по почерку на адресе определили принадлежность их Обручеву. Нельзя точно так же одною случайностью объяснить и поведение Щедрина в раскольнических делах в Вятке.

Сочувствуя движению передовой молодежи, отстаивая интересы народа, т. е. прежде всего крестьянства, советуя молодежи, прежде чем действовать и навязывать народу свои собственные идеи, планы и проекты обновления жизни, спросить у народа о его собственных нуждах и стремлениях, Щедрин не был однако сторонником тех революционных методов действия, каких держался кружок Н. Г. Чернышевского.

Этим и объясняется его оценка польского восстания 1863 г. Польское восстание принесло вред, по его мнению, и принесло оно вред потому, что вызвало темные силы, которые, казалось, отошли в вечность. Тем самым восстание это помешало идти по пути к свободе той части русского общества, которая в развитии этой свободы и видит задачу момента. Подобная аргументация против польского восстания была довольно ходкой и в либеральных кругах.

Социалисты, да еще революционные социалисты, хотя бы и утописты, какими были Чернышевский и его ближайшие сторонники и ученики, рассуждали не так: они просто вступили в сношения с польскими революционерами и при помощи своей организации «Земля и воля» пытались и в России поднять восстание. Пускай их попытки привели к поражению («Казанский заговор»), но это были смелые попытки революционеров, будивших мысль, призывавших всю честную и отзывчивую молодежь, все лучшее, что было в стране, идти в бой с врагом народа и подготавливать истинных выразителей интересов и нужд трудящихся масс.

Как бы радикально ни мыслил гениальный сатирик, зачислить его в лагерь не только чуть ли не марксистов (как пытаются некоторые), но хотя бы в лагерь революционеров-социалистов эпохи 60-х годов ни в каком случае нельзя.

Щедрин конечно не либерал, но он и не революционер, не социалист. Но ведь это только отрицательная характеристика, скажут нам. К какой же группе передовых людей 60-х и 70-х годов принадлежал Щедрин?

Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть все взгляды Щедрина по всем вопросам социально-экономической жизни России, всю эволюцию этих взглядов, начиная с 40-х годов. В коротенькой заметке этого выполнить конечно нельзя, и мы попытаемся это сделать во вводящей статье к его переписке, уже подготовленной к печати.

* * *

Публикуемая здесь статья Щедрина из цикла «Наша общественная жизнь» воспроизводится по корректурным гранкам (пять форм) сохранившимся в архиве А. Н. Пыпина (ИРЛИ Академии Наук). Разночтения между корректурным текстом статьи (рукопись не сохранилась) и первопечатным журнальным (в № 9 «Современника» за 1863 г.) изуродованным цензурой, в нашей публикации не отмечаются. Наглядно показать разницу текстов, выявить цензурные купюры и изменения можно было бы лишь напечатать обе статьи en regard, что по условиям места мы не можем здесь сделать.

В. Невский

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ДВА СЛОВА ОТ ФЕЛЬЕТОНИСТА.—О ЖУРНАЛЬНЫХ И ГАЗЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.—
 ФЕЛЬЕТОНИСТ-КУХАРКА.—«ТЫ ПОЙМИ, ПОЙМИ, МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ» (РОМАНО В ДЕЙ-
 СТВИИ).—ВЕСЕННИЕ ГРЕЗЫ.—ЮБИЛЕЙ ШЕКСПИРА.—МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
 КОМЕТЫ.—ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

Опять возвращаюсь к тебе, читатель, но заранее прошу не сетовать на меня, если я буду говорить уже не тем спокойным тоном, каким говорил до сих пор. Это истина всем известная, что «Современник»¹, в котором я пишу мои заметки, бывает здоров и цветущ только тогда, когда небо безоблачно, когда фонды на бирже стоят твердо и в обществе возникают вопросы и вопросы ко благу общему. Но он бывает тощ и беден, когда небо стоит грозное, когда в делах и предприятиях царствует застой, а вопросы и вопросы прячутся в самую глубь общества, словно боятся, чтобы не окатило их холодным ливнем. В такое неблагоприятное время светлые литературные ручьи возмущаются, и на поверхности их появляется неизвестно откуда берущаяся негодная накипь; в такое время над словесною нивою реют жадные стада литературного воронья и строго блюдут за чистотой русской мысли и языка; темные духи, когда-то осмеянные и опозоренные и вследствие того скрывшиеся на дно горшка, вновь заявляют о своей живучести, вновь выползают из темниц и, появившись на свет божий, припоминают старые счеты; забытые кучи завалившегося хлама начинают двигаться и вопиять о поруганных правах своих... Понятно, что простой и невинный литературный орган, чуждый каких бы то ни было лирических* соображений и преследующий одну цель — исправление нравов, не может не чувствовать себя неловко на этом странном пире, где царствует ревнивое соглядатайство и шумным потоком реют праздные речи. Он должен оглядываться и взвешивать каждое свое слово; он должен стараться только о том, чтоб эта кратковременная фантазмагория как-нибудь не задела его, чтоб она поскорей прошла мимо, как те бичи, которые по временам проходят над человечеством, в виде повальных болезней, голода, войны и пр. Но, что он может еще позволить себе, — это обдумывать на досуге средства, чтобы сделать повторение подобных явлений невозможным или, что равносильно, безвредным.

Тем не менее, как ни горько зрелище такой повальной нравственной и умственной смуты, в нем есть, однако же, своя сторона поучительная, и даже утешительная. Прежде всего, оно научает нас с меньшею строгостью относиться к людям, занимающимся так называемыми «вопросами». Сами по себе, эти «вопросы» имеют вид пустяков, да в сущности и составляют совершеннейшие пустяки, но по соображению с другою действительностью, развивающеюся вне этих пустяков, они все-таки представляют что-нибудь, а положительно-полезная их сторона заключается в том, что занятие ими приучает людей с омерзением смотреть на мир бездельничества, наущничества и сплетен — я сам не раз склонен был признать призрачною ту крохотную и произвольную хлопотню, которой предавалась наша литература за последние семь лет, но теперь, видя на деле, какие выползают на место их из нор чудовища, я готов принести искреннее раскаяние и усердно вопиять ко всем нашим лиллипутам гласности и устности: «чтож вы уныли, милые дети? дерзайте, заглушите вашим дружным писком московский концерт чревоугодничества, который так оглушительно перекачивается из одного конца России в другой». Во-вторых, это зрелище в то же время научает нас быть более строгими к ста-

* Так в корректуре; в «Современнике»: «политических».

рому ехидству. Мы слишком мягкосердечны и доверчивы: когда уличное ехидство стушевывается перед нами и просит прощения, мы охотно верим его раскаянию, и вследствие ли презрения или, еще скорее, вследствие преступной небрежности, еще охотнее набрасываем покров забвения на прошлое. Но ехидство не умирает; таясь под пеплом, оно сильнее, нежели когда-нибудь, питает огни злобы и ненависти и ждет только первой нашей оплошности, или первой несчастной случайности, чтоб выйти наружу. Теперь, искушенные опытом, мы будем знать, что ехидство никогда не раскаивается, что следовательно его необходимо преследовать до тех пор, пока оно не испустит дух свой. Что касается до утешительной

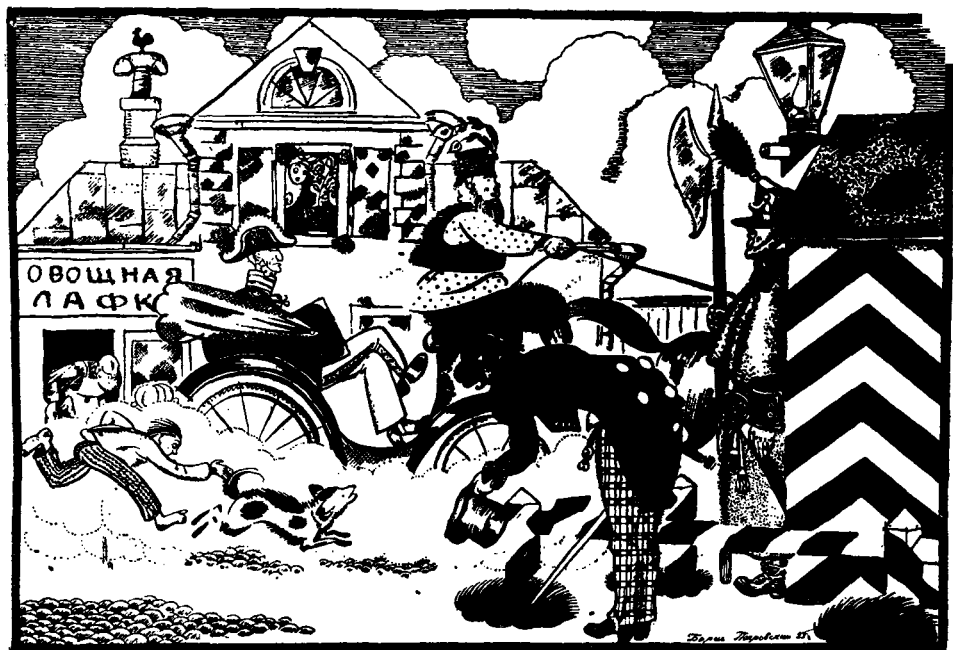


ИЛЛЮСТРАЦИЯ БОРИСА ПОКРОВСКОГО К СКАЗКЕ ЩЕДРИНА
«ПРАЗДНЫЙ РАЗГОВОР», 1922 г.

стороны зрелища, то она очевидна. Взгляните, какая алчная нерасчетливость в действиях этих темных сил, так неожиданно для самих себя всплывших наверх, какая варисстая торопливость в движениях, какое жадное нетерпение насладиться хоть одним моментом нечаянного торжества, выразить и заявить разом всю желчь и ненависть, которые накопились ценою долгого и мучительного плена. Они сами не рассчитывают на продолжительное торжество, и потому спешат, спешат упиться темной сырою ночью, по стечению горьких обстоятельств временно заменившей веселый, ясный день. Уймутся дожди, просветлеет хмурое небо, и все эти пузыри лопнут, все эти белые, здоровенные дождевики позеленеют и обратятся в прах... Согласитесь, читатель, ведь признаки эти слишком яркие, чтобы не считать их утешительными.

Да; много вреда принесла за собой польская смута для той части русского общества, которая жаждала только спокойствия, чтоб развиваться и воспитывать себя к той свободе, которая одна представляет прочный и плодотворный залог будущего преуспевания. Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вре-

весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели, как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло всё выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...

Но так как вопросы политики не входят в область нашего фельетона, то мы и оставим их в стороне, а займемся теми общественными проявлениями, которыми ознаменовало себя прошедшее лето.

Несколько месяцев сряду Россия занималась составлением адресов, которые стекались в Петербург со всех концов России и всё в разных формах. Факт многозначительный, доказывающий, что дух русского народа не только не ослабевает, но наипаче мужает. Узнав об этих адресах, Европа заметно остепенилась, и таким образом была сугубо побеждена без помощи оружия. Стало быть, польза от составления адресов очевидна, и нет сомнения, что средство это будет употреблено и на будущее время в подобных же обстоятельствах (что повторение этих обстоятельств не невозможно, в том нам служит порукой та зависть, ощущаемая Европой при виде тишины и спокойствия, которым наслаждается Россия).

Все адреса были более или менее замечательны, как по внутреннему своему содержанию, так и по красоте слога, но для «Современника», как журнала, всего больше интересующегося судьбами молодого поколения, разумеется, родственнее других было заявление студентов московского университета по поводу польских смут. Это, можно сказать, самый крупный перл нашей общественной жизни, и потому я приступаю к нему не без волнения.

Если я не раз указывал на тот неправильный смысл, который придавался слову «благонамеренность», то это происходило совсем не потому, чтобы я придавал этому слову ироническое значение, или хотел изгнать его из употребления, а потому единственно, что сан «благонамеренных» выказали люди, не имеющие на то никакого права. Теперь она сошла к нам, действительная и неподдельная, и я первый преклоняю перед нею мою голову.

Да, она сошла к нам, но не в блеске четвертаковых молний, и не в громе необулгаринских бурь: нет, она выбрала себе своего рода ясли в «Дне»², и стала перед нами скромная и даже немного стыдящаяся. Великое явление избрало для себя сосуд скудельный и малый, но это так и следует. Малое болото не служит ли началом великой реки? Малое куриное яйцо не является ли хрупким вместилищем будущего великого петуха? в слоненке не усматривает ли прозорливый наблюдатель будущего слона-великана, которому суждено сойти с ума в Москве? Всё это факты достоверные, засвидетельствованные наукой, а если мы припомним к тому, что от копеечной свечи Москва загорелась, что многие люди очень малые являются творцами пакостей по истине великих, то смысл того, что совершилось прошедшим летом в «Дне», делается для нас вполне ясным.

Тут есть предопределение, есть рок. Неисповедимое в путях провидения для того, конечно, избирает «сих малых» орудиями своих предопределений, чтобы посредством их разительнее подействовать на сильных и великих. Сосуд золотой, но пустой, по мнению моему, менее приятен, нежели сосед его, хотя и слепленный из скромной глины желтой, но содержащий в себе драгоценную влагу. Гордый конь, носящий на хребте своем не менее гордого всадника, в глазах моих далеко не приносит той пользы, как собрат его, конь вороной, который вывозит навоз на поля да

вдобавок еще, вместо всякого гонорария, получает за свой труд одни побои. Зная это, и золотой сосуд, и гордый конь будут и сами меньше кичиться своими минутными достоинствами. Конечно, прибегая к этим сравнениям, я знаю, что говорю вздор, потому что ни золотой сосуд, ни гордый конь ничего знать не могут, но с одной стороны, если «День», для объяснения своей теории народности, имеет право употреблять фигуру Русляндии³, фигуру взволнованной души, фигуру всеславянского уязвления и наконец самую драгоценную из фигур, — фигуру форрейтора^{*}, то почему же мне не позволить себе прибегнуть к фигуре золотого сосуда и гордого коня! А с другой стороны, хотя ни золотой сосуд, ни гордый конь не могут иметь никаких таких соображений, какие мною сейчас высказаны, но несомненно, что если бы они могли их иметь, то providение явило бы в этом случае новый пример своей неисповедимости.

Еще за неделю до самого события, «День», уже заявлял, что студенты московского университета имеют намерение публично очистить себя от наветов: он говорил, что наступила, наконец, пора объяснить словом и делом наглую и дерзкую ложь публицистов, которые посеяли столько подозрений и раздора в русском обществе и разъединили русскую учащуюся молодежь; он говорил и еще много кой-чего, он приветствовал, ободрял и обещал свое содействие. Понятно, с каким напряженным нетерпением ожидал я появления возвещенного документа.

Он появился на страницах 21 № «Дня», и читатели «Современника», конечно, не посетуют на меня, если я поделюсь с ними самим текстом заявления представителей московского учащегося молодого поколения. Вот он вполне:

«Нижеподписавшиеся студенты и слушатели московского университета утвердили, подписали и вручили редактору «Дня» для хранения следующее заявление:

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение, — мы, студенты и слушатели Московского университета, громко, пред лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю нравственную важность своего поступка, — объявляем следующее:

«1) Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с русским народом. Его дело — наше дело; его зная — наше зная. Мы русские. Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России; нам свят завет нашей истории, целость и единство русской земли. Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными русскими деятелями в науке и в жизни — вот как понимаем мы наше призвание. Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг русского народа, всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте, хотя бы под предлогом свободы, — есть враг его; всякий, накликающий беды на русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг ему, враг России.

«Враг русской земли и русского народа — наш враг».

* В одной из своих руководящих статей (в 1862 году) «День» сравнивал Русляндию (это особенная развитая страна, которую открыли славянофилы, и жители которой поклоняются Момусу) с форрейтором, который, не чувствуя, что постромки, привязывавшие выносных лошадей к экипажу, давно лопнули, сломя голову мчится вперед и вперед. Натурально, экипаж загруз, и Русляндия, налетевши зря на косогор, вывихнула себе шею. Положение драматическое, но для обеих сторон равно бесполезное. Замечательнее всего, что Русляндия постоянно обвиняется в том, что она без оглядки скачет «вперед». Каков скакун! [Прим. Салтыкова.]⁴

«2) Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм польской нации; мы желаем свободного, самостоятельного развития для Польской народности, но лишь под тем единственным условием, чтоб свобода Польши не стала неволюю для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на западный и юго-западный край России, но готовы, вместе со всем русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность русской земли. Вопли и стоны польской шляхты, оглушающие слух Европы, не могут заглушить для нас вековые мужицкие стоны, стоны угнетенного польской шляхтою, польской цивилизациею и латинством малорусского и белорусского народа.

«3) Мы считаем, что в настоящее, трудное для России время, долг каждого русского — отложив в сторону неудовольствия, расчеты и пристрастие к тем или другим политическим теориям, — есть долг непоколебимой верности русской земле и тому, кого она признает своим представителем, кому вверила оберегательство своей чести и целости, кому вручила свои судьбы.

«Да, безусловная честность в исполнении долга, безусловная преданность русской земле, безусловная верность русским народным началам, полное согласие с русской народною мыслью и русским народным чувством — вот наша гражданская заповедь.

«Студенты и слушатели московского университета».

(С л е д у ю т 200 п о д п и с е й).

Прекрасно. Просто, не суесловно, и вместе с тем не лишено сознания собственного достоинства. Чувствуем, что здесь именно заключена действительная благонамеренность: сознаешь, в каком унынии должны находиться опасные московские публицисты, которые одни мнили себя быть благонамеренными и вдруг увидели, что простым и едва начинающим учиться юношам стоило только захотеть, чтобы сразу оставить их позади и явиться истинными форрейторами русской цивилизации. И заметьте, ведь не адрес, а заявление — какая тонкая и деликатная черта! какой шаг вперед!

Но чтобы читатель не обвинил меня в пристрастии и преднамеренной похвале, я нахожусь вынужденным разобрать это замечательное «заявление» несколько подробнее.

Прежде всего, что значит «заявление»? почему не «адрес»? Не доказывает ли эта необычайная и произвольно вами измышленная форма, что вы еще недостаточно смирились, что в вас действует дух гордости и любоначала? Вы хотите очиститься от злых наветов и оскорбительных надежд — ну, и очищайтесь вполне, не останавливайтесь на половине дороги, не говорите себе: хорошо, кабы нам очиститься, но как бы это подешевле устроить! Вы видите, что в с я Россия изъясняет о своих чувствах посредством адресов — отчего же вы одни хотите выйти из ряда вон? отчего вы одни хотите идти не прямо, а боком? Если это оригинальность, то не надо забывать, что и оригинальность не всегда бывает уместна; грустнее же всего то, что враги ваши могут истолковать ваш поступок робкими позывами фальшивой стыдливости, прикрывающей неостывшую еще гордость и любоначалие. Я знаю, что ничего этого нет, и что вы только по неопытности сделали такой промах, но ведь это знаю только я да И. С. Аксаков. В сущности, ваша прекрасная цель легко может остаться недостигнутою, и тогда «пропали хозяйские горшки»; вы по прежнему останетесь под игом наветов и несправедливых подозрений, и по прежнему

ВАРШАВА ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ
ЦАРЯ

«К предстоящему приезду царя числится и заново покрывается позолотой ключ от города. Опубликованы приказы о добровольной иллюминации домов обывателей»

Карикатура на царскую политику в Польше из журнала «Kladderadatsch» 1864 г., № 38—39



публицисты будут иметь основание рассеять свою дерзкую ложь. Я не ручаюсь даже, что и теперь некоторые из них, прочитавши ваше «заявление», не сказали: «эге! да они хватят!»

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение, — мы, студенты и слушатели Московского университета, громко перед лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю важность своего поступка, — объявляем следующее». — Период прекрасный, замечательный, как совокупною своею правильностью, так и соответствием всех своих частей; орфография тоже весьма удовлетворительна, кроме того, что слова «московский», «русский» пишутся с прописных букв: это без всякой нужды пеэстрит печать (но с другой стороны, если такое правописание есть плод патриотических чувств, то в этих видах можно и его допустить, как исключение). За всем тем нельзя не заметить следующего: 1) употребление рядом таких однозначущих слов, как «громко» и «во всеуслышание» называется амплификацией; хотя подобный оборот речи и был нередко употребляем газетою «День», но всегда без успеха; 2) говорить «перед лицом и во всеуслышание всей России» могут лишь те, которые имеют, так сказать, официальное на сие полномочие; И. С. Аксаков хотя и порывался неоднократно присвоить себе такое полномочие, но попытка его была признана Россией за дебош и никакого успеха не имела. Надо быть скромными, молодые люди! надобно прежде заслужить! Ибо что же в том будет хорошего, если Россия, к которой вы так запросто обращаетесь, скажет: «а кто же вас знает, откуда вы взялись?» Ничего хорошего не будет. Мы, русские, потому и сльем добродетельными, что обделяем свои дела промежду себя, и потом заявляем о том, куда следует, твердо памя-

туя, что самолюбие в этих случаях может лишь испортить дело, а не украсить его. Поэтому, я надеюсь, что если вам на будущее время придется писать подобное же заявление, то вы напишете его в форме адреса, а это доставит вам возможность избегнуть слишком самолюбивых фраз.

«Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело — наше дело; его знамя — наше знамя. Мы Русские». Прекрасно. Периода нет, но отрывистость речи оправдывается отрывистостью чувств, и в некоторых случаях наукою о словосочинении не токмо не возбраняется, но даже поощряется. Относительно орфографии замечание то же. Сверх сего, я должен заметить, что молодым людям на всякий случай следовало объяснить более обстоятельно, в чем, по их мнению, заключается «дело и знамя русского народа». Ибо, на счет этого в узаконениях прямых указаний не имеется, а ученые специалисты находятся по этому случаю в постоянном друг другу противоречии и даже во взаимной вражде. Одно знамя вручает русскому народу г. Чичерин⁵, другое — г. Аксаков⁶, третье — г. Катков⁷. Наконец, г. Краевский⁸ полагает, что можно и совсем без знамени, а делай, что приказано — ведь и это тоже своего рода знамя! Среди этих многочисленных «предложений услуг», русский народ теряется и не знает, за какое знамя ухватиться, но, кажется, что до сих пор он всего умильнее поглядывает на знамя г. Краевского. А потому, при недостатке с вашей стороны объяснений, злонамеренные люди могут вывести заключение, или, что вы придерживаетесь знамени А. А. Краевского, или что вы сами еще хорошо не знаете, о чем говорите, и к чему прилепляетесь. Я знаю, что ничего этого нет, и что вам отлично известно, какое такое это «дело и знамя русского народа», но все-таки считаю необходимым предостеречь вас для того, чтобы вы действительно могли очистить себя от наветов и оскорбительных надежд.

«Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России» и т. д. В последнем случае, следовало сказать не «дорога», а «дороги», ибо «честь» и «величие» представляют два понятия отдельные, а потому и относящиеся к ним прилагательное должно быть употреблено во множественном числе. Все прочее безукоризненно.

«Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными русскими деятелями в науке и жизни, — вот как понимаем мы наше призвание». Прекрасно, тем более, что это говорят ученики Б. Н. Чичерина, с своей стороны написавшего прекрасную статью о «народности в науке», в которой доказывается, что «народность в науке» есть понятие отчасти алхимическое, отчасти астрологическое. Очевидно, что в сердцах юношей боролись разом две признательности: одна к И. С. Аксакову, преподавшему им искусство писать высоким слогом, другая — к блестящему профессору московского университета. От этого в них горит, с одной стороны, желание служить русскому народу и проникаться его началами, с другой стороны — желание самостоятельности; явное противоречие, из которого молодые люди не выпутались только по неопытности. Но не будем слишком привязчивы, и обратим внимание на сущность дела. Проникайтесь, молодые люди! понимайте ваше призвание! но повторяю: не будьте самонадеянны! Берегитесь этого яда, который уже огорчил Россию славянофилами! Что вы такое совершили, чтобы иметь право с уверенностью говорить о том, куда вы пойдете и какими явитесь деятелями в науке и жизни! А может быть, вы явитесь деятелями не в науке, а в танцклассах! а может быть, даже и в танцклассах вы пройдете незамеченными! Кто знает, куда ведут вас судьбы неисповедимые! Вот если б все сие уже совершили, — ну, тогда точно, можно было бы разрешить вам сказать нечто о самостоятельной деятель-

ности в науке и жизни, а то, натко, ничего не сделавши, да какую уж бурю подняли! Я знаю, что фигура эта, в славянофильской риторике, называется фигура устрашения, и что ее не раз употреблял И. С. Аксаков, но ведь он употреблял ее всегда без успеха, следовательно, зачем же идете вы по его стопам? И еще знаю я, что, всеконечно, у вас и помыслов никаких насчет самостоятельности никогда не бывало, и что все это вы сказали спроста, но зачем же спроста говорить? Не надо забывать, что невинность и мудрость суть качества взаимно друг друга пополняющие, и что первая, будучи предоставлена самой себе, успела заслужить в понятиях русского народа авторитет не совсем лестный, выразившийся в пословице: «простота хуже воровства».

«Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг Русского народа; всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте, хотя бы под предлогом свободы, есть враг его; всякий, накликающий беду на Русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов Русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг его, враг России». Чувства прекрасные, но не могу воздержаться, чтоб не сказать несколько слов о форме, в которой они выражены, и о мыслях, которых эти чувства являются лишь трепетною оболочкою. Начну с формы. Периоды, подобные выписанному выше, в соловьином пении называются периодами «с оттолчкой», и там они совершенно уместны; но в человеческом пении необходима ясность и простота; «оттолчка» тут не только неуместна, но даже неприятно поражает слух. Может быть, славянофильское учение от того так мало делает себе прозелитов, что оно слишком охотно прибегает к «оттолчке». Публика слышит какой-то стук, а толку не видит. Поэтому, лучше было бы, кажется, редакцию этого параграфа изменить так: «как истинные верноподданные, мы заявляем, что считаем своим врагом всякого, кто замыслит что-нибудь противное интересам Его Императорского Величества». Это будет ясно, разумительно, и при том несколько не противно той мысли, которую вы намеревались выразить. Теперь поговорю о мыслях. Ложная форма увлекла вас и к ложным мыслям. Основная-то ваша мысль, пожалуй, и правильна, но, во-первых, витийство заставило вас обставить ее различными второстепенными мыслями, которые просто никуда не годятся, и во-вторых, эта самая обстановка доказывает, что и основная-то мысль явилась у вас бессознательно. Можете ли вы, например, указать, чтобы кто-нибудь призывал народ к насилию и измене? к насилию на счет кого? к измене кому и чему? Говоря таким образом, вы, вероятно, разумеете или внешних, или, так называемых, внутренних врагов России; но если вы разумеете внешних врагов, то с их стороны желание сделать всякий вред своему врагу умеряется тем обстоятельством, что у них, по русской пословице, руки коротки; если вы разумеете каких-то внутренних врагов, то говорите прямее, действуйте вольным духом, а не прорицайте, подобно дельфийскому оракулу, фразами с оттолчкой. Тогда, быть может, представится случай разубедить вас, показать, что вы ошибаетесь, что речи ни об измене, ни об изменнике никакой нет, и что следовательно, самое слово «внутренние враги» есть слово вымышленное и не имеющее основания. Тогда, быть может, откроется перед вами, что люди, о которых вы разумеете, как об изменниках, суть собственно только люди другого образа мыслей, которых вы обозвали непотребно потому только, что молодой и горяченький человек вообще охотно называет отступниками и изменниками тех, которые не пляшут под его дудку. Но, быть может, вы скажете, что ваша дудка есть дудка российская, а потому плясать под ее звуки следует; на это опять-таки повторю: не будьте самонадеянны, дети! Вы не знаете русской

дудки; это дудка настоящая, способная извлекать из себя полный звук; ваша же дудочка маленькая, с трудом издающая легкий писк. И что это такое за насилие? что за измена? Может ли для вас, едва, так сказать, взятых от колыбели, быть понятным значение подобных страшных слов? Нет, оно не может быть понятным для вас, ибо умы и сердца ваши еще слишком юны и неиспорчены. Вся ваша измена может заключаться в том, что вы сходите без спросу на могилу Грановского⁹; все ваше насилие — в том, что вы пройдетесь по Тверскому бульвару не в форме (впрочем, нынче и для этого рода насилия, с уничтожением особой студенческой формы, предлог устранен). Стало быть, во-первых, вы не знаете, на кого именно намекают ваши слова, и во-вторых, не знаете и не можете узнать, в чем заключается ваше обвинение. Но этого мало: с свойственной славянофилам напыщенностью, вы говорите о нравственных и исторических принципах русского народа, но разве вы их знаете, эти нравственные и исторические принципы? На это вам ответит тот самый «День», который вы выбрали своим органом, что «нравственных» принципов русского народа вы не знаете, потому что живете совсем другою, совсем не народною жизнью; я же с своей стороны прибавлю, что вопрос о нравственных принципах русского народа еще разрабатывается и во всяком случае далеко не выяснен; многие даже думают, что это вопрос праздный, и что нравственные принципы всякого отдельного народа суть принципы общечеловеческие; но во всяком случае, здесь спор не решен и следовательно дело еще в дороге. Что же касается до принципов исторических, то скажу вам на это, что история русская до сих пор слагалась под влиянием разных случайностей, по милости которых исторические принципы русского народа определить, по крайней мере, столько же трудно, как и определить его принципы нравственные. Это еще труднее для вас, молодые люди, потому что вы знакомы с русской историей лишь по краткому руководству г. Устрялова¹⁰. А потому, на будущее время упаси вас бог говорить о таких вещах, кои важны.

«Враг Русской земли и Русского народа — наш враг». Мысль хорошая, но теряющая все свое достоинство именно вследствие того, что соединена с «оттолчкой» (вот что значит неопытность!). Впрочем, эта оттолчка последняя, достойно завершающая длинный ряд предыдущих.

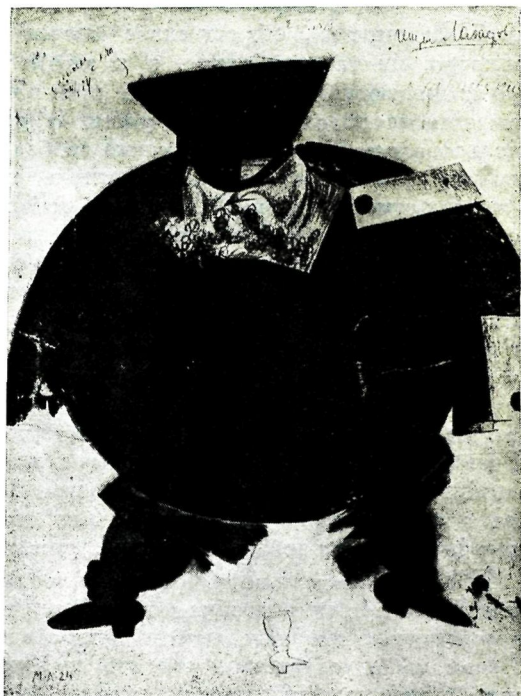
«Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм Польской нации, но лишь под тем единственно условием, чтобы свобода Польши не стала невою для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши и с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на Западной и Юго-западный край России, но готовы, со всем Русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность Русской земли». Прекрасно. Это, что называется, в одно и то же время и по губам помазать и калом накормить. Однако, позвольте. «Мы не отрицаем», «мы не признаем»! Кто же вы такие, и кому какое дело до ваших отрицаний и признаний? Ах, молодые политики! ах, молодые политики! Ведь я знаю, что вам не безизвестно, что ваши отрицания и признания весят менее грана аптекарского: для чего же вы конфузите себя, неужели для того, чтобы высказать несколько красноречивых слов? Но если вы действительно думаете, что без вашего участия такого дела решить нельзя, то не останавливайтесь на половине дороги и помните, что вера без дел мертва есть. В согласность этому последнему изречению, вам надлежало бы объяснить не голословно, а доподлинно, каким образом все сие устроить, а без этого ваше заявление представляет лишь непрерывную фигуру единоначатия, фигуру красивую, но мало объясняющую. Да, дело писания заявлений с каждым днем становится труднее и труднее. Для этого мало иметь приятный слог, но необходимо знать, чего именно желаешь, и какие имеешь

в виду практические средства для осуществления этих желаний...

Но довольно; дальше идет речь, по славянофильскому обычаю, о воплях и столах. Повторяю: намерение отличное, но основная мысль его, очевидно, подверглась разным бесполезным влияниям, и потому пострадала в основном. То ли дело, например, рязанские крестьяне! «Враги,— говорят они не в заявлении, а во всеподданнейшем письме своем,— могут получить успех только на могилах русского народа, и для этого им нужно переплыть море крови своей и нашей». Вот это дельно, потому что тут доказательства налицо. А то «мы признаем»! «мы отрицаем»! Признаюсь, еслиб московские студенты, по поводу этого заявления, обратились ко мне за советом, то я проэктировал бы им статейку совсем в другом роде, статейку, быть может, не столь красноречивую, но, льщу себя надеждой, более идущую к делу. Я написал бы:

«Мы нижеподписавшиеся, студенты и слушатели императорского московского университета, сим заявляем, что отнюдь не принадлежим к тому русскому молодому учащемуся поколению, на которое осмеливаются возлагать надежды враги России. В доказательство же, что это заявление с нашей стороны вполне искренно, мы вместе с сим подаем прошения об увольнении нас из университета и об определении в войска в качестве «простых солдат».

И только. Желание очиститься от наносных слов было бы достигнуто, а вместе с тем и патриотическое чувство нашло бы себе правильный и не голословный исход. Но, может быть, вы думаете, молодые люди, что в солдаты идти неприлично, так разуверьтесь; служили же многие из ваших компатриотов в качестве солдат у Гарибальди, так неужто ж в своем собственном деле, и при таком отчетливом знании нравственных и исторических принципов русского народа, каким вы похваляетесь, послужить



ПОСТАНОВКА «СМЕРТИ ПАЗУХИНА» В ТЕАТРЕ ГООДРАМЫ
(б. АЛЕКСАНДРИНСКОМ), 1924 г.
Эскиз костюма и грима Лобастова;
рисунок М. Левина
Музей Государственных Академических театров, Ленинград

нельзя! Как бы то ни было, но я рекомендую себя гг. студентам на будущее время.

Еще одно замечание: что означают слова: «вручили редактору «Дня» для хранения?» На какой предмет хранить документ уже напечатанный? Или И. С. Аксаков завел при редакции своей архив чувствительных российских дел, в котором и объявил себя бессменным архивариусом?

Но как бы то ни было, достаточно или недостаточно само по себе это заявление, нельзя терять из вида, что оно делается людьми, едва вышедшими из детского возраста и впервые вступающими на поприще патриотических чувств. Сверх того, оно приобретает еще особенное значение в том отношении, что указывает на то общее настроение, в котором находилось русское общество по поводу событий в Царстве Польском.

Это настроение было весьма утешительное; со всех сторон стекались адресы с выражением пламеннейшей готовности и самых отборных чувств; от членов московского английского клуба до тех темных московских метеоров, которых прототип так удачно изображен Островским в его бессмертном Любиме Торцове, вся Россия негодовала и горела желанием сразиться; проэскты следовали за проэсками, тосты за тостами; даже так называемые ублюдки (русские Петерсоны, Иогансоны, Иозефсоны и т. п.) и те, наперерыв друг перед другом, предлагали проэскты о введении единомыслия, и спешили указать на вред, который от разномыслия происходить может; во многих местах устраивались патриотические обеды, и плодом их были телеграфические депеши, которые из разных концов России пересылались к князю Горчакову¹¹, к генералу Муравьеву¹² и даже к М. Н. Каткову с поздравлениями и поощрениями; даже московские тюремные дома (говорят, будто бы и трактиры, но я этому не совсем верю, хотя знаю, однакож, случаи, когда веселые собутыльники, собравшись в трактире и спросив себе шампанского, вдруг задумывались и, отменив сделанное распоряжение, жертвовали деньги в пользу раненых) и те почувствовали необходимость политических демонстраций, и попытка их в этом смысле сошла с рук довольно благополучно. «Никогда, говорили по этому случаю «Московские Ведомости», общественное мнение не выражалось в России ни так широко, ни так свободно», и я охотно этому верю, хотя с другой стороны не могу не поставить на вид почтенной газете, что относительно выражения патриотических чувств, общественное мнение в России всегда пользовалось весьма достаточною свободой. В газете «День» некто г. Оптухин¹³ малоархангельский обыватель, весьма язвительно назвал поляков «коллективною Мариной Мнишек», готовую из-за почестей разделять ложе с кем угодно, и изъявил предсудительную надежду, что ежели на будущее время встретится надобность рекомендовать полякам посетить восточную Россию, то они будут размещаемы в тамошних крепостях отдельно от командированных туда же и для той же надобности русских, потому что, в противном случае, первые непременно заразят последних, и пойдет это у них: «гей! надея еще с нами!» и Миткевичев краковяк. Это последнее замечание вызывает невольную улыбку гордости в русском читателе. В самом деле, как подумаешь, каких нет на свете смешных наречий и говороов! Возьмите, например, те же самые слова, и переведите по-русски, выйдет: «да! надежда еще с нами!» ведь ничего! между тем, по-польски... Господи! да одна эта ужасная «надея» чего стоит! «Надея!» нутко еще! «Надея!» — ох, прах тебя побери! да тут животики от уморы надорвешь!

Поговорю несколько подробнее о проэсках, потому что тосты выпиваются, обеды съдаются, а проэскты остаются. Их было много, и все они останутся неоспоримым доказательством русской патриотической изобретательности. Летом мы едва успевали следить за ними: вчера был проэскт об учреждении обывательской стражи, сегодня — проэскт об устройстве крейсёрства

для перехватывания неприятельских купеческих кораблей, на завтра готовился проект об организации стрелковых сотен. Даже дамы, и те спешили принести на алтарь отечества скромную умственную лепту, в виде проекта о ношении одежд из материй, производимых неприязненными нам государствами; даже вчерашние недовольные (так называемые те, которые причисляются, *à la mécontentant**, и те наперерыв друг перед другом спешили представлять проекты чувств. Разумеется, в этих проектах не было ни тени подражания иностранным образцам, но в этом-то именно и заключалась их сила. Разумеется также, что на поприще проектов всего более отличалась Москва, которая, впрочем, в качестве сердца России, уже исстари слывет закоренелой и даже очень затейливой проектершею.

Как и следовало ожидать, наибольшим сочувствием публики пользовались проекты чувств. Во-первых, они общепонятны, во-вторых, не влекут за собой никакой иной жертвы, кроме жертвы сердца. Тут одно чистое пламя, один фимиам благовонный: все это доступно даже самому простому рыбарю. Составителям таких проектов (обыкновенно этими составителями являются самые, что называется, беспардонные либералы, которые очень рады случаю оправдаться) многие ставят в вину их крайнюю изменчивость; им говорят: еще вчера вы будировали, а сегодня лезете с чувствами. Но это явная придирка. Порицатели забывают, что на сем свете вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства, в своих проявлениях, следуют общим жизненным законам, то весьма понятно, что и они имеют характер временный и изменяются, смотря по обстоятельствам. Тем-то и красна человеческая жизнь, что все в ней в свое время и на своем месте делается: сегодня нам предстоит опасность — мы чувствуем и соединяемся; завтра нет опасности — мы перестаем чувствовать и начинаем будировать; после завтра опять опасность — мы и опять восчувствуем, и опять соединимся. Так оно и идет у нас колесом. Тем страннее было видеть неодобрение проектов чувств со стороны «Московских Ведомостей», которые сами по себе представляют не что иное, как пламя и фимиам. Этого, говорят они, мало; мало одних чувств. Гм... я очень хорошо понимаю, чего желает почтенная газета, но, с другой стороны, спрашиваю самого себя, имеет ли она право разбивать наши мысли и навязывать нам какие-либо иные желания, нежели те, которые мы сами имеем? Развращенная западною наукой (в лице великого развратителя Молиари)¹⁴, не причастная ни «жизни духа», ни «духу жизни», может ли она выдавать себя за обладательницу тайны наших хотений? Говоря по совести, ни того, ни другого права она не имеет. Мы выражаем свой «дух жизни» по-своему; мы не претендуем на изобретение пороха (я знаю: почтенной редакции именно хотелось бы, чтобы мы изобрели что-нибудь вроде пороха), но, взамен того, добродушны и гостеприимны; мы не вдаемся в разбор, откуда идут к нам наши невзгоды, но помогать (разумеется, устранению их) готовы. Смирение тоже своего рода сила, и сила великая; славянофилы не даром кичатся тем, что изобрели ее, хотя кичливость их напрасна, ибо они не изобрели, а только открыли смирение, подобно тому, как и Колумб совсем не изобрел, а только открыл Америку. С помощью смирения, мы победим какое хотите иго; с помощью любви, обольстим какого хотите врага. «Что с них взять?» скажут наши супостаты и отойдут от нас прочь. Поэтому, с проектами чувств надобно обходиться, как можно осмотрительнее, ибо они составляют нашу гордость, наше единственное сокровище; ибо все прочее, что выходит из этой области, все, что касается собственно дела, уже выходит из сферы общественных пожеланий, и составляет неотъемлемую принадлежность сферы государственной. Сами

* А la недовольные.

«Московские Ведомости» могли в этом убедиться по поводу концессии московско-севастьяпольской железной дороги. По этому предмету, почтенная газета начертала в прошлом июле прекраснейший проэкт чувств, и хотя впоследствии дело сделалось совершенно вопреки ее ожиданиям, однако это все-таки не мешает их проэку чувств остаться их прекраснейшим проэктом¹⁵. Стало быть, чем больше таких проэков, тем больше и пользы от них, хотя бы этой пользы повидимому и не оказывалось.

После проэков чувств, наибольшая популярность принадлежит проэку об устройстве обывательской стражи. Разумеется, мы совсем не желаем, чтобы обывательская стража была организована у нас на манер иностранных, так называемых, национальных гвардий; нет, мы имеем в виду единственно облегчение трудов русского войска на время предстоящей опасности, а когда опасность пройдет, когда войска получают возможность возвратиться в свои постоянные квартиры, то мы, пожалуй, и разойдемся. Так как проэкт этот первоначально выработался в Москве, то весьма понятно, что он всего сильнее поразил тамошних «метеоров». Я слышал, что они положительно бредят им; вместо того, чтоб увеселять гостинодворцев более или менее удачными подражаниями Садовскому¹⁶ в роли Любима Торцова, они облакаются в ризу воинственности, и за пятачок серебра представляют, как будут стоять на страже общественного спокойствия с трещотками в руках (таким проказникам дать в руки ружья опасно). Слышно также, что не менее готовности выказывали по этому случаю и московские студенты: многие якобы даже справлялись уже, какие будут мундиры чинов обывательской стражи, и чем они будут вооружены. Вообще, публика томилась ожиданием; не было недостатка даже в раздорах. Одних огорчало, что не будет конной стражи, других — что обывательская стража не будет делать походов, а только препровождать арестантов из городских частей в острог (но разве это не поход?). Тем не менее, все эти сетования и недоразумения утонули в одном общем чувстве ликования. «Метеоры» надеялись, что по этому случаю на кремлевской площади будут по праздникам ставить жареных быков и отдавать их стражникам на разорвание; учащаяся молодежь надеялась, что ей позволено будет не посещать лекций. Даже люди взрослые, и повидимому не пьяницы — и те были вне себя. Один мой знакомый писал ко мне по этому поводу из Малоархангельска: приеду в Москву и на собственный счет вооружу трещотками семь тысяч «метеоров»! Ясно, что если явится пять, десять человек таких доброхотов, то одна Москва в самое короткое время будет в состоянии выставить до семидесяти тысяч хорошо вооруженного войска. Что же могу рещи о прочей России, которой Москва составляет лишь каплю малую? Просто, даже волосы становятся дыбом. Каково подспорье, но, главное, каково удобство! Понадобилось войско — есть войско; понадобились «метеоры» — стоит только обобрать трещотки, и вот они! Но я все-таки скажу: как ни завлекателен проэкт, но, по моему мнению, уж пусть будут лучше метеоры, потому, что это будет явным признаком, что все обстоит благополучно, что смута кончилась, и что Россия наслаждается вожделенным спокойствием.

Третий проэкт, тоже очень понравившийся — это проэкт русской конституции, начертанной «Русским Вестником» в 4-й его книжке за нынешний год¹⁷. «Русский Вестник» недоволен конституциями, существующими на западе; по мнению его, народные представители в западных государствах имеют право вмешиваться в дела страны и даже контролировать действия исполнительной власти, а этого быть не должно. Поэтому он проэктирует такую конституцию, которая несомненно подходит гораздо ближе к свойствам русского народа, и предлагает нечто вроде бессменно заседающего новотроицкого трактира. Это, конечно, недурно, потому что за порцией поросенка или за парой чая, конечно, всякое дело идет ходчее, нежели всу-

хомятку, но, по моему мнению, если уж пристойно иметь такую конституцию, то еще пристойнее совсем никакой не иметь. Сверх того, при составлении этого проекта, очевидно, упущено из вида, что такою-то конституцией мы уж давным давно пользуемся, ибо трактиров в Москве имеется несчетное число, и в каждом из них заседают достаточное количество сквернословов, охотников вмешиваться не в свои дела.

Гораздо менее популярен был четвертый проект: об устройстве правильного крейсёрства для перехватывания неприятельских купеческих судов. Об нем вообще отзывались, что он слаб и скомпанован на скорую руку. От



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К РАССКАЗУ ЩЕДРИНА
«МИША И ВАНЯ», 1932 г.

Собрание художника, Ленинград

того ли, что мы, русские, вообще мало воды видим (к сожалению, на Переславском озере уж нет больше флота!), но нам как-то думается, что либо в Каттегате, либо в Скагерраке, либо в самом Ламанше, а уж где-нибудь да изловят нас¹⁸. Вот, если можно было невидимкой проскользнуть сквозь все эти Каттегаты и Бельты, тогда, разумеется, было бы дело не худое. Но так, или иначе, хорош ли проект, или слаб, важность не в нем самом, а в той окрыленности, которую с каждым днем все больше и больше приобретает русская мысль. Прежде, в подобных обстоятельствах, только и слышно бывало, что «умрем поголовно!» Согласитесь, что хотя в этом было пропасть геройства, но вместе с тем было и что-то японское. Известно, что истинный японец (все равно, что у нас славянофилы), желающий насолить своему врагу, распарывает себе ножом брюхо, и умирает удовлетворенный. Конечно, это обида смертная, однако, к счастью нашему, мы начинаем уже понимать, что удовлетворения в этом все-таки никакого нет. И потому поднимаемся на хитрости. По моему мнению, самая чувствительная заслуга, какую оказала Россиянам нынешняя редакция «Московских Ведомостей», заключается именно в том, что она первая возвестила миру, что умирать никогда не поздно. Это нужды нет, что ее проекты мероприя-

тий почти равняются умиранию, главное, дать толчок русской изобретательности, а там оно и пойдет само собой понемножку. Пройдет смутное время, — глядишь, ан и впрямь умирать будет не нужно.

Наконец, был и еще проэкт — о ношении дамами платьев из иностранных материй — но этот потерпел решительное фиаско. Ходят слухи, что он обязан своим появлением инициативе Н. Ф. Павлова¹⁹, и я этому очень верю. Н. Ф. издавал до 13 июля в Москве политическую газету, но так как никто ее не читал, то он исполнял это дело с прохладой, и следовательно остающееся свободное время мог легко употреблять на сочинение проэктвов. До какой степени приятно и лестно издавать политическую газету, которой никто не читает, доказывается тем, что в то время как «Московские Ведомости» выдали уже 118, а «Петербургские Ведомости» даже 122 №№ (и куда это они так спешат!), Н. Ф. выдал своей газеты только 103 номера; стало быть, в первые же пять месяцев у него оказалось ровно 15 лишних воскресений, и в том числе одно третье обретение главы Поедтечи (празднуется 25 мая, а 26-го «Наше время» не выходило). Мудрено ли, после этого, что от скуки начнешь сочинять проэкты? Но по малодушию русских дам, проэкт о ношении платьев остался мертворожденным, равно как и другой подобный же проэкт о непитии иностранного вина. Иностранные виноторговли нынешним летом, по свидетельству достоверных лиц, процветали даже лучше прежнего, потому что изобилие патриотических чувств, по древнему русскому обычаю, вызывало изобилие тостов, а изобилие тостов, в свою очередь, вызывало изобилие чувств. Виноторговля питает содружество, содружество питает виноторговлю — так оно всегда бывает в сем коловратном мире, где и былинка малая может с гордостью сказать (разумеется, если бы могла говорить), что существование ее не бесполезно проходит для мира. Одно московское общество распространения бесполезных книг составляет в этом случае исключение, и в нем-то именно и нашел себе приют проэкт, приписываемый Н. Ф. Павлову. Мудрено ли, что при такой нечаянной обстановке, он не возбудил в обществе никаких симпатий?

Оканчивая с патриотическими проэктами и заявлениями, я должен сказать, что как они ни мало удовлетворительны, все-таки в них видно усилие человеческой мысли что-нибудь высказать, а не пустое и бессельное переливание из пустого в порожнее, сопровождаемое неистовым выдавливанием из себя пустоцветов красноречия. Это последнее занятие решительно невыносимо.

Когда преподаватели реторик повторяют перед нами известное выражение *poëtae nascuntur, oratores fiunt*^{*}, то мы верим им на слово, верим по привычке верить всему, что ни скажут старшие. Однако, опыт доказывает, что выражение это совсем неверно, и что сделаться оратором, не родившись им, точно так же невозможно, как невозможно сделаться лгуном, не имея к лганью врожденного расположения. Сущность красноречия заключается в том, чтобы совершать несовершенное и прозревать туда, где ничего в волнах не видно; понятно, что для выполнения таких подвигов нужно, чтобы в этом принимала участие сила совершенно независимая, сила сама себя питающая и сама же себя поедающая. Такою силою и является именно красноречие, которое поэтому и называется искусством вести такие устные и письменные беседы, которые выслушиваются и прочитываются с приятностью, и в которых между тем нет никакой возможности найти что-либо похожее на мысль.

Следовательно, фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих. Наука в этом случае занимается констатированием

* Поэтами рождаются, ораторами становятся.

факта, уже предсуществующего; она подмечает все риторические волдыри, которые таятся в глубине человеческого существа, называет их настоящими именами, и говорит: вот этим волдырем ты можешь воспользоваться таким-то образом, а вот этим — таким-то. Если ты, в сущности, не имеешь никаких чувств, ни дурных, ни хороших, но хочешь высказать возвышенную душу, то для достижения этого можешь прибегнуть к фигуре единоначатия и к фигуре усугубления; если ты ни мало не остроумен, но желаешь показаться таковым, то можешь прибегнуть к фигуре умолчания и удержания. Так как фигуры эти живут в самом тебе, в той красноречивой сущности, которая заменяет для тебя и мысль, и чувство, то достаточно тебе самонадеянности, чтобы достигнуть желанной цели.

Например, еслиб я мое обозрение начал таким образом: «не знаю, известно ли вам, читатели, какую эпоху переживает в настоящее время Россия?» — конечно, слова эти, с точки зрения внутреннего содержания, были бы пустым празднословием (кому же не известно, что Россия действительно переживает эпоху?), но если взглянуть на такой приступ с точки зрения красноречия, то он не только возможен, но даже заслуживает всяческого поощрения, ибо представляет совершенно правильную фигуру устрашения. Заручившись ею, я создаю для себя отличную рамку, которую могу сплошь наполнить произведениями моего риторического существа. Я могу сказать, например, что если вам это известно, то, конечно, вы не раз показывали, не раз ощущали, не раз себя вопрошали (фигура взволнованной души); но с другой, ничто мне не мешает задаться мыслью, что это обстоятельство вам неизвестно, и в таком случае получу возможность осыпать вас укоризнами и сказать, что вы оторваны от почвы и стоите корнями вверх (фигура патриотического уязвления). Обыкновенно это делается так: если вы петербуржец, то предполагается, что вам ничего неизвестно, и что вы стоите корнями вверх; если вы москвич, то предполагается, что вам известно все, и что вы не раз задумывались, не раз ощущали, не раз себя вопрошали и т. д. Все это, разумеется, совершенно произвольно, ибо я сам отлично хорошо знаю, что все это я выдумал, что вы стоите корнями вниз, и что, наконец, вы, как две капли воды, точь в точь такой же патриот, как и я сам (как же иначе и быть-то?), но нарочно притворяюсь, что все сие мне неизвестно, потому что такого притворства требует моя риторическая сущность. Вы скажете, быть может, что такой образ действия не совсем похвален; на это я отвечу: что же мне делать! Из меня так и выпирает тропами и фигурами: не проквасить же мне их, в самом деле, на дне взволнованной души!

Возьмем другой пример. Предположим, что я начинаю свое обозрение таким образом: «милостивые государи! Русляндия заслоняет от наших глаз истинную, православную, святую нашу Русь», я опять-таки знаю, что и это я выдумал, что Русляндии никакой нет, что и Русь была до сплыла, а есть Россия, которую никто и ничто, по причине обширности сюжета, заслонить не может, но вместе с тем я знаю также, что такое начало наверно дает мне возможность со всею безопасностью поместить в моем обозрении и фигуру взволнованной души, и фигуру патриотического уязвления, — именно те две ужасные фигуры, которые преимущественно точат мое риторическое существование. И вот я начинаю пространно объяснять, что такое Русляндия, и что такое Русь; из объяснений моих выходит, что Русляндия есть нечто такое, что заслоняет Русь, а Русь есть нечто такое, что заслоняется Русляндией, — больше, клянусь, ничего не выходит. Но это ни мало меня не смущает, ибо, в сущности, я совсем не о том и забочусь, чтобы из моего красноречия что-нибудь выходило, а о том только, чтобы сказать несколько «жалких слов», и чтобы при этом состояло налицо самое красноречие. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкого

слова без умиления проглотить не могут, — на них-то я и рассчитываю. Это люди, тоже в своем роде красноречивые, не могущие выражать свою риторическую сущность потому собственно, что красноречие их, так сказать, бессловесное. Это моя любимейшая публика; я рассчитываю на этих бессловесных ораторов, потому что я, кроме того, что оратор до мозга костей, есмь и пропагандист. Я пропагандист фигуры взволнованной души, формулирующей фразой: «не знаю, известно ли вам, какую эпоху переживает в настоящую минуту Россия», и фигуры патриотического уязвления, формулирующей целым потоком фраз о различии Русляндии и Руси. В порывах моего пропагандизма, я не оставляю в покое даже и малых сих, я посещу земные расселины, я сойду в ад, я пойду сквозь иго цензуры, но жив не буду, если не напою всех и каждого от струй моего красноречия.

О боже! Да и двумя ли только приведенными выше примерами исчерпываются поводы для моего красноречия! Разве я не могу найти их на каждом шагу сотни и тысячи? Разве я, так сказать, не попираю их ногами? [Прослышу ли я что-нибудь о секвестре, я буду до истомы приставать, исполняются ли правила о секвестре, я буду говорить о том, как это ужасно, что не исполняются, и по этому поводу опять обращусь к Русляндии, и опять докажу, что она заслоняет нашу древнюю, святую, православную Русь, в которой всё сие исполнялось. Это нужды нет, что мне положительно известно, что в этих делах Русляндия отнюдь не уступит древней Руси православной, да и не об секвестре совсем тут идет речь, да и не желаю я его совсем, а вот подвернулась под руку именно эта, а не другая фраза, я и щелкнул; сначала щелкнул слабо, потом сильнее и сильнее, и наконец заслушался самого себя. Попадись мне под руку другая фраза, хоть бы, например, такая, что секвестр имеет свои неудобства именно по растяжимости понятия, которое он в себе заключает и т. д. (некоторые московские публицисты эту штуку очень хорошо поняли), я зашолкал бы и на этот мотив, и опять обратился бы к Русляндии, опять доказал бы, что она заслоняет собой нашу древнюю Русь православную, где никаких этих секвестров не знали и слыхом не слыхали, а просто брали всякую штуку не спросясь.

Мало вам этих примеров, я могу, коли хотите, и слиберальничать. Чем кровь-то проливать, скажу я, лучше было бы спросить польский народ, чего он желает. Надеюсь, что фраза — первый сорт. Конечно, мне могут возразить: над какими это вы пустяками всё убиваетесь! Как это спросить польский народ, да и кто его спросит? Но разве я не знаю, что всё это пустяки, и что спросить польский народ нет никакой возможности, однако не виноват же я, что мне в данную минуту пришла смертная охота спрашивать польский народ!] Поймите, что здесь идет дело лишь о том, чтобы провести время, что это один из тех булыжников красноречия, которых запас я постоянно держу у себя за пазухой, чтобы по временам метать ими в русскую публику.

Главное заключается в том, что я вышел на ровную дорогу, что попал, наконец, на вопрос, по поводу которого сошелся с Русляндией, и могу, как паука паутину, беспрепятственно испускать из себя красноречие. Буду откровенен: хоть я и ратую против Русляндии, но, в сущности, она мне не противна. Мне даже жаль, что она смотрит на меня искоса, потому что дай она мне высказаться до конца, она увидела бы сама, что мы желаем одного и того же. Чего я желаю? чего добиваюсь? Я желаю и добиваюсь только одного: чтобы мне не препятствовали употреблять слово «Русляндия» — что же может быть невиннее этого желания! Предположите даже, что это с моей стороны каприз, отчего же не допустить и каприза, если он никому не наносит вреда? Говорят, будто я смотрю как-то исподлобья, как будто чем-то недоволен, как будто желаю произвести какой-то «хаос-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА
к «ГОСПОДАМ ГОЛОВЛЕВЫМ»,
1932 г.
Собрание художника, Ленинград



кавардак»! да поймите же, наконец, что это с моей стороны только будирование, что это просто малая шалость, результат желания занять какое-нибудь положение в обществе. Вспомните тех русских бар, которых Русляндия, во время оно, ссылала, за ненадобностью, в Москву, разве они не будировали? но разве кто-нибудь опасался их?

Не думайте, милостивые государи, чтобы всё рассказанное выше было видно мною во сне: нет, хоть мне и самому казалось, что все это не больше, как бессвязный сон, но я бодрствовал. Передо мной и до сих пор лежат номера «Дня», в которых все эти сновидения изложены в подробностях, и даже называются руководящими статьями: «Москва. 11, 18 и 25-го мая» *. В каких-нибудь трех номерах газеты совместить столько реторической сущности — как хотите, а это труд громадный! Целых три дня беседовать с публикой, и не проговориться при этом ничем, кроме чистого красноречия, — как хотите, а это фокус, которому не было доселе примеров ни в черной, ни в белой, ни в голубой, ни в розовой магии! Это магия совершенно новая, а потому пускай она носит отныне название желтой.

* Впоследствии «День» пространно рассуждал о том, как лучше поступить с Польшей, т. е. отделить ли ее, или оставить попрежнему, и решили, что лучше отделить. На это пространно же отвечали ему «Московские Ведомости», при чем обе редакции называли себя «почтенными» и показали неслыханный пример галантерейного обращения. И ведь все это так серьезно, как будто и в самом деле их кто-нибудь спрашивает, как будто и впрямь они не афишки, а газеты! Проказники! [Прим. Салтыкова.]

Это жаль; «День» был грустен, но я любил его: в нем было нечто свежее, напоминавшее хорошо сохранившуюся средних лет девицу. Несмотря на достаточные лета, это девица еще неопытная, сберегшая во всей чистоте свои институтские убеждения; она во многом не отдает себе отчета и решительно не может себе объяснить, чего хочет и к чему именно стремится, но в то же время и во сне, и на яву чувствует, что кто-то ее хватает, кто-то подманивает, а потому не хотеть и не стремиться не может. Это придает какую-то трогательную задумчивость всем ее движениям и сообщает ее душевным помыслам то кроткое постоянство, которое заставляет ожидать жениха даже тогда, когда нет никакой надежды на его появление. Такой орган, от которого всегда пахло бы чем-то кисленьким, решительно необходим в литературе; он представляет в ней вечную нейтральную территорию, на которую по временам отрадно бывает вступить, как отрадно же бывает по временам вспомнить детские годы и сказать себе: да, и я был когда-то ребенком! и я когда-то картавил и лепетал «папа» и «мама»! Я никогда без умиления не мог читать краткие, но сильные *premier-Moscou** периодически появлявшиеся в заголовке «Дня», до той недавней минуты, которая, к удивлению моему, развязала ему язык. «Москва такого-то числа и месяца», так гласили эти руководящие статьи, — затем черта, затем «жених» — и ничего больше. Это было так оригинально и вместе с тем так невинно язвительно, что я долгое время был убежден, что это именно самая лучшая манера писать русские руководящие статьи. Во-первых, тут тонким образом дается знать, что и я рад бы, да не от меня зависит; во-вторых, читатель от этого решительно ничего не теряет. Ведь он наверное знает, что, за что бы я ни взялся, о чем бы ни начал говорить, роковая сила все-таки приведет меня к вопросу о различии Руси и Русляндии; следовательно, он может сочинять упражнения на эту тему и без моей помощи.

Оказывается, однако, что девица моя совсем не так невинна; оказывается даже, что она чуть ли не состояла в тайном браке с той самой Русляндией, о которой выражалась с тою невинною иронией, какую обыкновенно употребляют все вообще пожилые девицы, говоря о мужчинах: *фи, противный!* Да, именно так, потому что, если и теперь еще девица моя продолжает иронизировать на счет Русляндии, то я уже очень хорошо понимаю, что это совсем не ирония, а одна из тех стыдливых *bouderies*** о которых гласит русская пословица: «милые бранятся, только тешатся». Иначе откуда бы взялось у них такое согласие в воззрениях и стремлениях? Откуда бы явилась, с одной стороны, такая полнота дерзновения, а с другой — такая полнота поощрения? Нет, как хотите, а тут что-нибудь да есть: тут есть, по малой мере, надежда на явный брак.

Но и за всем тем, мне жаль «Дня»; то-есть, мне не столько жаль его самого, сколько моей старой привязанности к нему. Мне даже и теперь кажется, что ежели он хорошенько взбунтуется и свергнет с себя иго красноречия, то будет даже милее той средних лет девицы, о которой я выразился выше с таким сочувствием. Мне кажется, что если он даст себе труд хорошенько размыслить, то непременно придет к убеждению, что эти переходы от будирования к восторженности и от восторженности к будированию не заключают в себе ничего поучительного, что здесь сегодняшняя восторженность служит лишь обильным источником будущих будирований. Он поймет, что нет той силы обстоятельств, которая могла бы столкнуть мысль (если только есть мысль) с того логического пути, на котором она стала. Он поймет... но нет, он ничего не поймет! Он не

* Передовицы.

** Выражений досады.

поймет уже по тому одному, что в раздвоении мысли именно заключается та сила, которая позволяет ему быть красноречивым во всякое время. А так как, с другой стороны, красноречие составляет дело всей его жизни, то возможно ли желать, чтоб он отказался от этого дела и добровольно обрек себя на смерть? Нет, это невозможно, да и несправедливо. Я понимаю, что человек, принадлежащий к известной политической партии, может, убедившись в несостоятельности руководящих его начал, отказаться от них, но к настоящему случаю это не относится. Ибо, скажите на милость, чтож это за партия такая — партия красноречия? и куда из нее выйти, и с чем в люди показаться?

Я с намерением остановился на «Дне», потому что явление это в высшей степени характеризует время, которое мы переживаем, и которое, по всей справедливости, можно назвать временем красноречия. Но путь этот, хотя и кажется издали усыпанным цветами, в сущности, есть путь погибельный и ложный, и общество, упорствующее оставаться на нем, скоро отвыкает от трезвой и прямой деятельности и приучается к преувеличениям. Поэтому литература, как представительница высших общественных стремлений, должна в этом отношении соблюдать особенную осторожность. Литература может поучать забавляя, но горе ей, если она будет забавлять поучая. Орган, который вдается в подобный промах, может, конечно, иметь своих диктаторов-приверженцев, но публика очень скоро оставит его в самом горьком одиночестве.

* * *

Когда человек сыт и доволен, когда дела или делишки пойдут изрядно, то он почти всегда наклонен думать, что этой сытости и довольству не будет конца. Особоливо в этом смысле способность оказывают люди, которые любят ловить рыбу в мутной воде, и которым такое ловление более или менее счастливо сходило с рук. Поприще свое они обыкновенно начинают тем, что прикидываются лазарями, прислушиваются и приглядываются, но, обделавши два, три дельца, постепенно ободряются и в скором времени уже начинают ломаться и кривляться во всю мочь. Опираясь на свой успех, эти люди не только воображают себя великими и непобедимыми дельцами (а деловитость их в том только и заключается, что они умеют платки из чужих карманов среди бела дня таскать), но, к величайшему и всеобщему изумлению, сами приобретают даже какую-то олимпийскую уверенность в своем бесспорном праве ловить рыбу в мутной воде. В порыве гордости, они не прочь даже запутать и провидение в сотоварищи своих гнусеньких проделок. «Это мне бог послал!» говорил мне однажды один мошенник, ловко ограбивший своего ближнего, и я совершенно убежден: во-первых, что он вполне верил тому, что говорил, и во-вторых, что он отнюдь и не подозревал, что произвел грабеж, а очень наивно думал, что воспользовался только своим правом. Для этих господ общественное бедствие вместо праздника, а чужое несчастье вместо лакомого пирожного: все это мутит воду и позволяет им вылавливать рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Если судьи неправедны, если администрация злоупотребительна, если общество цепенеет под игом безгласности — все это им на руку, потому что потворствует их наглости, запугивая и систематически придавливая ту среду, в которой они действуют. Наружность эти люди имеют самоуверенную, глаза алчные и бесстыжие, нос подносящийся, рот широкий, череп непомерно толстый. Внутренние их свойства составляют: нахальство и полное отсутствие сознания о различии, существующем между добром и злом. Пассивность общества поощряет эти свойства, доводит их до разврата, и даже до галлюцинации, и поселяет в них сладкую уверенность, что такому блаженству не будет

ни препон, ни конца. Я знал одного такого господина. Пришел он некогда в Москву откуда-то из-под Воронежа, пришел пешком, и, что называется, без исподнего плаття — и что же? послужил в комиссариате, и в каких-нибудь десять лет, с помощью одного нахальства, успел нажить себе несколько домов в Москве и значительный капитал. Теперь живет в Москве, пользуется общим уважением, называет мужиков хамами и ракалиями, занимает какую-то «благородную» должность и по временам даже будирует правительство. Замечательно, что это человек положительно глупый, что все проделки его пошлы и крайне незамысловаты, и что всё искусство здесь заключается в расчете на чужую честность или на чужую оплошность. Продает, например, этот господин свое имение и, при осмотре его, показывает покупщику чужой лес, или сдает съемщику фрукты в своем саду, получает с него задаток и приглашает в дом запить могарычи, а в это время нахустренный им садовник призывает баб и преспокойно себе собирает до чиста все фрукты. Шутки, очевидно, все незамысловатые, но этот человек до того возгордился своею подлостью, до того возвеличился тем, что всякий скорее спешил бежать от него, как от чумы, или как от вонючей помойной ямы, что плыл по океану жизни, как оглашенный на всех парусах, и даже рулем править пренебрегал. Эта самонадеянность довела его, однакож, до того, что он несколько раз был бит, но это бы еще ничего — и самый ловкий мошенник всегда рассчитывает на возможность побоев — главное-то горе его заключается в том, что с некоторым пробуждением общественного сознания, проделки его стали удаваться все меньше и меньше, и сверх того в сердце поселилось горькое предчувствие, что не всегда же будут судьи судить и рядить по усмотрению, и что правде формальной, правде, опирающейся в своих решениях на одну букву, наступит же когда-нибудь и конец.

Бывало, встретишь его на улице, идет он весь в синяках, но веселый и бодрый.

— Ну что, Порфирыч, опять побили?

— Побылы (он малоросс, и в качестве угнетенной нации, вместе с остзейскими немцами, поляками, армянами, нежинскими греками и еврейскими считает за долг надувать великоруссов при всяком удобном случае; разница только в том, что остзейские немцы, армяне, нежинские греки и евреи надувают вас *en gros**, а поляки и малороссы, как братья по крови, *en détail***).

— Что, видно мошенничать-то уж туго приходится?

— Нычего.

И сказавши это, смотря по расположению духа, или хихикнет от удовольствия, или же вздохнет потихоньку и прибавит: «Бог ему заплатит за то, что побыл бедного человека!»

Теперь уж не то. На днях его встретил: идет, по обыкновению, весь в синяках, но уже не хихикает, а как-то уныло и жалостно понурирует голову.

— Ну что, опять побили?

— Опять побылы.

И машет рукой, как бы желая сказать: это что! послушал бы ты, какую еще штуку со мной отмочили! Мы идем некоторое время в угрюмом молчании.

— Та не слыхалы лы вы, що там еще за гласность така? спрашивает он, наконец, меня.

* Оптом.

** В розницу.

«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ
ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «капитан-
исправника»

Акварельный рисунок худ. Кукры-
никсы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва



— А гласность, Порфирыч, такая вещь, при которой мошенничество, хотя и возможно, но уже пользуется меньшими льготами, и при том теряет значительного ума.

— Ну, так. А можно будет старые дела вновь начинать?

— Как не можно; разумеется, можно.

— Да что ж се такэ?

— Да уж там как знаешь, Порфирыч, а прошло твое времячко; ступай Варвара на расправу.

И этот человек, который еще так недавно верил в прочность земного счастья, который не мог пройти мимо чужого кармана, чтобы чего-нибудь не стянуть оттуда, которого нельзя было пригласить обедать без того, чтобы потом не недосчитаться серебряной ложки, теперь сделался меланхоликом и потихоньку ропщет на провидение. Мало того: он даже начинает заигрывать с тою самою гласностью, которой так боится, спрашивает про нее, говорит: «от-то славно штука!» и, по всему видимо, что изъявляет твердое намерение примоститься к ней. Но этого не будет, я твердо в том убежден. Почему я убежден в этом, я даже не могу себе объяснить, но верю, что чем более будет простора и света для всех, тем большую тесноту ощутят негодяи и жулики (*sit venia verbo* *).

Итак, есть же средство укрощать даже таких огнепостоянных мошенников, которых доселе не укрощали ни брань, ни побои. Это средство должно действовать на них тем погубительнее, что они его не предвидели, а следовательно и не приготовились к нему. Разумеется, если б они были

* Извините за выражение (дословно: да простится это слово).

более предусмотрительны, если б не ослепляла их самонадеянность до того, что они горизонт своих надежд и желаний ограничивали хоть только сегодняшним днем, то их никогда не оставяла бы вопрос: а что, если я попадусь? а что, если меня за эту штуку побьют? и сообразно в этом они обделывали бы свои дела с большею осмотрительностью. Тогда, чего доброго, они могли бы даже прослыть в общем мнении за людей, которые, быть может, слишком зорко и придирчиво блюдут свое право, но все-таки в чужие карманы не заглядывают, да, пожалуй, и примостились бы! Но провидение благо; оно казнит нахала его собственным же нахальством; оно лишает его всякой предусмотрительности и окрыляет его ложными надеждами. И таким образом, оно неслышно и неисповедимо уготовывает ему место в арестантских ротах, где он может упражнять свои способности в более достойной его среде.

«Что же из этого следует? и к чему тут речь о мазуриках и жуликах?» спросит меня изумленный читатель.

А из этого следует вот что:

1) что не всё же говорить о людях честных и обыкновенных, а надо иногда потревожить и жуликов, надо и им сказать что-нибудь в назидание;

2) что не только так называемый жулик, но и всякий другой человек, как бы он ни был сыт и доволен, отнюдь не должен рассчитывать, что этому довольству и сытости не будет конца; это правило, которое не терпит никаких исключений, и против которого, мы, к несчастью, всего больше прешим;

3) что правило это в особенности обязательно для тех литературных витязей, которые, забывая, что все на свете переходчиво, рубят себе с плеча, что бог на сердце положит; эти люди не должны упускать из вида, что литература, как бы она не была стеснена, не всегда же будет оставаться в безгласности, и что клевета, в каких бы широких размерах и с какою бы бойкостью она ни производилась, рано или поздно, все-таки найдет себе неотразимое возмездие.

Затем, благоразумный читатель может вывести из моего рассказа и всякие другие заключения, какие ему заблагорассудится.

* *

Я всегда с удовольствием читаю «Московские Ведомости», с тех пор, как они перешли в ведение новой редакции. Я люблю следить за прихотливыми извивами человеческой мысли, люблю наблюдать за ее ветреностью и непостоянством, и хоть мне всегда представляется при этом Марина Мнишек (благодарю г. Оптухина за материал для сравнений), которая, переходя от одного Лжедмитрия к другому, кончила самым несчастным образом, однако я утешаюсь мыслью, что хорошенькая женщина, и в несчастии, все-таки остается хорошенькою женщиною, и если не прельстит собой человека, обладающего изящными манерами, то наверное прельстит хоть грубого казака. Искусство выражать одну и ту же мысль на разные манеры и не изолгаться при этом в конце — столь любопытно, что может равняться разве искусству выражать совершенно разные мысли на один и тот же манер. В первом случае, читателю кажется, что мысли как будто одни и те же, а между тем, они как будто разные; во втором, что мысли как будто разные, а в то же время они как будто одни и те же. Закон, которому подобные мысли следуют в своем течении (ибо, в благоустроенном государстве, на всё свой закон есть), называется законом единообразия в разнообразии, или, что одно и то же, законом разнообразия в единообразии.

Милая ветренность и откровенная, непринужденная кокетливость—вот те драгоценные свойства, которыми эта почтенная газета уловляет в свои сети читателей. Она говорит читателю (особливо если-таки читатель сам подписывается, а не пользуется газетой от знакомых): не я обладаю тобой, о возлюбленный! а ты всецело царишь над моими помыслами! если ты думаешь, что дважды два пять—прикажи! клянусь, никогда иная истина не омрачит столбцов моих!

Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами.

Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален;
Но цвету я для любви,
Для твоих опочивален.

Целый мир пахнул весной,
Тайный жар владеет девой;
Я прильну к твоей десной,
Ты меня обвинишь левой.
Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями.

Так вот как благоразумная редакция должна обходиться с своими подписчиками, а не то, чтобы грубить и тем паче навязывать им свои мнения. Что же мудреного, что и подписчик не остается нечувствительным к таким ласковым речам, что и он в свою очередь пишет в редакцию страстные послания, в которых зовет ее «розой гор» и клянется, что «красотой ее ужален»?

Но и в самом непостоянстве этой газеты есть один предмет, к которому она обращается всегда одинаково, т. е. с одинаковою злобой и ненавистью. Предметом этим служит русское молодое поколение, которое обвиняется в революционных тенденциях, которому приписываются всякие анти-социальные намерения, на которое, наконец, указывается, как на какое-то пугало, достойное омерзения. Беспреданно возвращается газета к этому неистощимому источнику своих скорбей и опасений и ругательными диатрибами отравляет лишенные волос головы старых каплунов, ее читающих. Каплуны читают и разевают рты, словно туда посылают им любимые их катышки из грецких орехов с творогом; они читают и начинают подозревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплуны, перестали ходить к обеду, не признают властей и надругаются над священным правом собственности.

— Да ты точно не признаешь собственности, Мишук? спрашивает старый покрытый плесенью каплун молодого, еще не совсем оперившегося каплуныка.

— А что такое собственность, папаша? в свою очередь вопрошает каплунынок, ковыряя в носу и воображая, что собственность и невесть какое кушанье.

— Собственность, мой друг... ну, Христос с тобой! ступай, душенька, поиграй с сестрицами!

И старый каплуныще вздыхает свободнее и долго ломает голову над вопросом, что такое приснилось во сне его любимой газете, когда она уверяла, что мальчишки задумывают перевернуть вверх дном любезное отечество? И какое она имела право производить междоусобие и смуту в мирных семействах, поселяя вражду между родителями и детьми? И как она смела дворянских детей «негодьями» и «жуликами» называть? И мно-

го еще других вопросов задает себе старый каплунище, в конце концов постановляет решение не подписываться на будущее время на «Московские Ведомости», а продовольствоваться исключительно «Сыном Отечества». Да этот исход еще самый благоприятный; другой каплун позадорнее, пожалуй, и сатисфакции от редакции потребует за то, что осмелилась кость от костей его «жуликом» обозвать.

Много на своем веку острых слов произнесла почтенная газета в укоризну современному русскому молодому поколению, но, конечно, ни в ней, ни в «Русском Вестнике» не появлялось ничего такого, что замысловатостью своей подходило бы к выходке, помещенной в 187 № «Московских Ведомостей». Выписываю вполне это драгоценное произведение человеческой гидрографии.

Дело идет о том, что гражданская администрация в Польше состоит из изменников; по этому поводу, или, лучше сказать, без всякого повода, а просто потому, что она с некоторых пор снует своею обязанностию находиться в состоянии постоянного лая, газета считает нужным обратиться и к России и указать, что ей угрожало точно такое же зло, да быть может, еще не перестало угрожать и в будущем.

«Мы не раз приводили, для примера, положение, в котором находилась наша северная столица назад тому года два. России, при совершенном отсутствии революционных элементов в недрах ее народа, грозила почти такая же мистификация, которая разыгрывается теперь с большим успехом в царстве польском. Пусть читатели вспомнят, какие элементы, в течение довольно долгого времени, господствовали над нашим обществом, развращая молодежь обоего пола. Нельзя без омерзения подумать, что эти элементы были близки к тому, чтобы превратиться в такое же подземное правительство, какое теперь властвует в Польше. Пусть русская публика вспомнит этот недавний позор России; пусть вспомнит она, под каким ужасным кошмаром находилось у нас целое здоровое и сильное общество; пусть вспомнит она, как поседевшие люди подличали пред двенадцатилетними мальчишками, считая их представителями новой мудрости, долженствующей преобразить целый мир, как воспитатель пасовал пред своим воспитанником, как профессор боялся выставить студенту балл, соответствующий его нахальному невежеству, как начальствующие лица, и лица высоко поставленные, трепетали того, что скажет о них помешанный фразер в Лондоне, — пусть вспомнит она этих чиновников-прогрессистов, коммунистов и социалистов, которых такое множество расплодилось в России, — пусть вспомнит она ту шутовскую и тем не менее печальную революцию, которую производили студенты на петербургских улицах, и которая не осталась без серьезных последствий даже для всего министерства народного просвещения; — пусть вспомнит она все те нелепости, безумства, весь тот неслыханный «нигилизм», который господствовал в нашей литературе, и эту непонятную терроризацию, посредством которой всякий мальчишка, наконец всякий негодяй, всякий «жулик» (*sit venia verbo*) мог приводить к конфуз самые бесспорные права, самые положительные интересы, наконец логику здравого смысла. Все это было так недавно, все это еще у всех на свежей памяти, все это еще и теперь не совсем замерло, все это может быть еще (да сохранит нас бог от этого позора) отдохнуть и очнется. Была же значит сила в этих ничтожных элементах; была же значит нечто такое, что давало им силу. Еще, казалось бы, один шаг и у нас началась бы настоящая терроризация... Были же и у нас какие-то тайные общества, какие-то центральные комитеты, издававшие свои прокламации; получались же и у нас разными лицами подметные писания с ругательствами и всякими угрозами. В сравнении с русским народом, с этим великим, могущественным целым, все эти элементы разложения кажутся теперь ничтожною тлей, о которой стыдно говорить; но эта

тля была же однако в силе, эта тля воображала же себя близкою в полному господству, и действовала же она с удивительною самоуверенностью. Что давало ей эту силу? Что внушило ей эту самоуверенность? Представьте себе, что вся эта наша революционная гниль сосредоточилась бы не в Петербурге, а в каком-либо другом городе; представьте себе, что все эти элементы разложения не находились бы ни в каком отношении к административным сферам, — и подумайте, что могли бы они значить, и какое действие могли бы они производить? Они могли бы быть только предметом смеха. Что же заставляло всех опасаться, что же заставляло всех тревожно оглядываться, что заставляло всех конфузиться и пасовать? Ничто иное как лишь то, что все эти элементы возникали и развивались в Петербурге, или под его влиянием; ничто иное как лишь то, что эти элементы действительно захватывали частицу власти и действовали с обаянием на всех и на все. Многие в Петербурге полагали, что это земля русская порождает из своих недр элементы разложения, а земля русская, недоумевая, видела в этих элементах признаки какого-то нового порядка вещей, новой системы, которая на нее налагалась. Раскрыть недоразумения, распутать интригу, которая, пользуясь обстоятельствами, умела поддерживать эти элементы, давать им ход и сообщать им ту фальшивую силу, которою они так долго пользовались, внушая опасения даже самым серьезным людям, было трудно. Представим же себе на минуту, что наши высшие власти были бы такого же свойства и были бы точно так же поставлены, как польские власти в Варшаве, — представим себе, что вся наша администрация вдруг наполнилась бы такими же неблагонадежными элементами, какими наполнилась вся администрация в царстве польском, и которые не только не препятствовали бы развитию действий революционной организации, а напротив, всячески способствовали бы ей, — и вот, даже без помощи ксендзов и европейской агитации, мы полу-



«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ
ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «Предводителя дворянства»

Акварельный рисунок худ. Кукры-
никсы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва

чили бы у себя явление совершенно аналогическое тому, которое происходит теперь в Польше. И у нас пожалуй стали бы вешать непокорных помещиков, отказывающих в контрибуции подземным властям, и у нас были бы жертвы подобные Минишевскому, и у нас стали бы насильно загонять крестьян в леса, как уже впрочем и были к тому попытки. Нет сомнения, что в России подобная мистификация не могла бы продлиться; но смут и всякого рода бедствий она причинила бы не мало, и бедствия эти обрушились бы главным образом на мирные народонаселения».

Здесь никаких объяснений не нужно; каждый принадлежащий к современному русскому поколению, без всякого сомнения, с презрением отнесется к этому бессмысленному набору ругательств, но не забудет однако, что органом этих ругательств постоянно является редакция «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей». Здесь, что ни слово, то ложь, что ни фраза, то смешение понятий; читая этот новый опыт словаря избранных ямских слов, невольно переносишься мыслью к тем блаженным временам, когда всякого человека, сочувствовавшего правительству, называли революционером, когда поголовно всех членов редакционных комиссий, включая в то число и покойного графа Ростовцева²⁰ называли «красными». Тут состоят налицо все виды ненависти и лжи: и намеренное обобщение фактов совершенно уединенных, и стремление поселить раздор между двумя поколениями, которые, в сущности, идут рука об руку, и тайное желание восстановить власти против целой части русского общества, при помощи самой безобразной и бессовестной клеветы.

И когда все это пишется! В те самые минуты, когда русское учащееся юношество, в лице своих представителей, студентов московского университета, изъявляет торжественное намерение очиститься от клеветы и наветов и с этою целью пишет такие трогательные и горячие заявления! И кем пишется! теми самыми, которые несколько лет сряду волновали это самое юношество, и потом, увидевши всю бесплодность своих коварнических попыток, и убедившись в стойкости молодого поколения, за это самое возненавидели его и ударились в противоположную сторону! Бедное юношество! если тебе так и придется сойти с поприща неузнанным и не-оцененным?

* * *

Этот непрерывный процесс, который ведут с молодым поколением наши журнальные борзописцы, наводит меня на разные размышления. Ведь и они когда-то были людьми, во что-то веровали, ходили не шатаясь по воле ветров. Какая таинственная сила заставила их переродиться до того, чтоб утратить даже возможность постигать смысл проходящих перед нами явлений? Какое мрачное колдовство до того засыпало мусором их память, что собственное прошлое является перед ними точно чужое?

Думаю я, что происходит это довольно просто. Выше я сказал, что когда человек сыт и доволен, то он склонен думать, что этой сытости и конца не будет; нечто подобное повторяется и в настоящем случае. Когда человек молод, внутренняя сила еще ключом кипит в груди, он думает, что этой молодости, этой силе никогда и конца не будет. А так как всякой силе свойственна известная доля гордости и даже фанатизма, то вот и мечтается молодому человеку, что краше-то его, молодого, и на свете нет, и что уж если он что выдумал или сказал, так уж лучше той выдумки или слова никому ни выдумать, ни сказать не приводится. И идет он таким образом до преклонных лет, и все думается молодому человеку, что он молодой человек, покуда вдруг не получит он откуда-то щелчка в нос. Тогда является в первый раз потребность оглянуться на себя и проверить свое положение в той среде, в которой действуешь. Оглядываешься, проверяешь... оказывается, что кругомросло что-то новое и притом до того

действительно-молодое, что не имеет надобности ни в фальшивых тунях, ни в искусственных зубах. И это новое и молодое не только ново и молодо, но даже говорит другим совсем языком, и думает совсем не ту думу, которую думали мы, прекрасные молодые люди сороковых годов. Господи! да неужели же мы не молодые люди! робко подумывает пожилой молодой человек, и внутренне оскорбляется даже одним предположением подобного рода. «Ах, мальчишки!» вырывается из груди его невольное восклицание.

С этих пор уж он старик, и мысль его перестает развиваться даже в сфере тех начал, которые питали его молодость. Эта мысль все идет назад и назад, и не успокоится до тех пор, пока не зайдет в самую трущобу. И тогда-то начинается действительная история человеческого прехопадения, история, которая была бы смешна, если б не имела в себе слишком много по истине жалкого и даже трогательного. Человек рвет фальшивый туней свой и искусственными зубами хочет вцепиться в живой организм.

В бессильной и дикой злобе глумится он над всем, что хочет жить, что жаждет истины и света, над всем, чье сердце равнодушно относится к чужому страданию. Само собой разумеется, что все эти неистовства остаются без результата, что естественного течения жизни не остановить не только искусственными, но и настоящими, здоровыми зубами, но картина одряхлевшего молодого человека все-таки поучительная. Трогательная сторона ее заключается именно в том бессилии, которое царит над нею, но так как, в большей части случаев, здесь примешивается еще злоба, то, в соединении с нею, картина уже приобретает колорит отвратительный.

Затем, оканчивая мою хронику, не могу оставить без нескольких слов ответа «Заметки для редакции «Современника», напечатанной в «Отечественных Записках» за июль месяц.

Быть может, читатель помнит, что в майской книжке нашего журнала, по поводу постоянного плача «Отечественных Записок» относительно какого-то бомбо-отрицательного направления, а также по поводу совершенно прозрачных намеков, которыми в распространении этого бомбо-отрицательного направления обвинялся «Современник», мы просили г. Громеку²¹, как объявившего себя редактором «Современной хроники», в которой означенный выше плач преимущественно производится, объяснить нам, на какие факты он может сослаться для подкрепления своих обвинений.

На наши скромные вопросы редакция ничего не отвечает, и даже своим рассуждениям о бомбо-отрицательном направлении старается придать такой смысл, которого они по истине не имели. Это обстоятельство, конечно, нас не может не радовать. Взамен того, почтенная редакция «Отечественных Записок» объясняет, что статью о бомбо-отрицательном направлении писал не г. Громека, а г. Ленивцев, и что г. Громека уполномочивает ее объявить, что он никогда не протягивал руки редакции «Современника» и не искал с нею сближений, но что редакция «Современника» не раз протягивала ему руку.

На это не лишним считаем в свою очередь объяснить почтенной редакции:

1) Что ежели статью о бомбо-отрицательном направлении писал не г. Громека, а г. Ленивцев, то г. Громека, как редактор «Современной хроники», обязан был воздержать своего неопытного сотрудника от неосторожных намеков, которыми и без того достаточно безобразят нашу недавно еще честную литературу московские публицисты.

2) Что выражение «протягивать руку» употреблено нами в переносном и даже ироническом смысле; что затем, хотя нам положительно неизвестно, протягивала ли фактически и не в переносном смысле редакция «Современника» руку г. Громеке (мы лично не имеем даже удовольствия

знать его), но если бы это и было, то надеемся, что здесь нет даже самого малейшего повода для обвинения.

Сверх того, в «Заметке», о которой идет речь, есть следующая фраза: «Мы уверены, что каждый читатель, вникнув во всю тонкость этой литературной передержки, сам убедится, что отвечать нам на эти вопросы, значило бы показать, что «Отечественные Записки» лишены всякой способности гнущаться, подобно «Современнику», тем, что им представляется наиболее гнусным».

Полагаемся на здравый смысл наших читателей и предоставляем им отыскать ключ к этой загадке. Мы же решительно ничего тут не понимаем, но чувствуем, что здесь что-нибудь одно из двух: или очень острое, или очень пакостное.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Современник» — один из самых замечательных русских журналов XIX в. (1836—1866), издававшийся в течение 30 лет. Основан по мысли А. С. Пушкина. В 1847 г. издание его перешло к Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву, и с этого времени «Современник» становится одним из самых влиятельных органов прогрессивного направления. Самым блестящим периодом его существования был тот, когда в нем в 60-е годы работали Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Щедрин и другие представители радикального и социалистического разночинства. Закрыт по распоряжению правительства в связи с покушением Караказова на Александра II.

² Газета «День» издавалась известным славянофилом Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823—1886).

Один из самых ярких представителей славянофильского течения в России по своей деятельности, так как теоретиками и основоположниками славянофильства были Киреевские, Хомяков и Самарин, И. С. Аксаков был младшим сыном Сергея Тимофеевича Аксакова и пленный турчанки Игель-Сюм. Привезенный в Петербург, когда ему было всего четыре года, И. С. Аксаков учился в Училище правоведения, но не здесь выработал он свои взгляды, а в том кружке славянофилов, который образовался вокруг его брата Константина Сергеевича.

Отдав дань увлечению немецкой романтической поэзией (он много путешествовал по Германии), Аксаков по окончании училища в 1842 г. поступил в Сенат, в Москве. Чиновничья, канцелярская атмосфера не могла удовлетворить деятельную натуру Аксакова, и он вскоре бросает службу в Москве, переезжает в провинцию, сначала в Калугу, затем в Астрахань (в уголовную палату), а в 1848 г. переходит на службу в министерство внутренних дел чиновником особых поручений.

Как и в Сенате, и здесь Аксаков не был тем заурядным чиновником, какими характеризовалась эпоха Николая I; вместо омертвевшей канцелярской работы он берет за обследование раскольных дел в Бессарабии и Ярославской губернии. За чтение в кругу знакомых своей поэмы «Бродяга» Аксаков получает выговор и в 1852 г. покидает службу и посвящает себя с тех пор целиком журналистике и политике. Приняв участие в издании известного славянофильского труда «Московский сборник», который был запрещен, Аксаков в числе других славянофилов попал под полицейский надзор, при чем его статьи могли печататься только после просмотра в Главном цензурном управлении. В 1853 г. Аксаков принял поручение Русского географического общества написать исследование об украинских ярмарках, для чего и отправился на Украину. Работа его вышла в свет в 1859 г. и получила две награды: от Географического общества и от Академии Наук. Во время крымской кампании Аксаков служит в ополчении (1855 и 1856 г.г.), а затем, подготовив к печати свою работу, в 1858 г. становится фактическим редактором славянофильской «Русской Беседы» (официальным редактором числился А. И. Кошелев). В 1859 г. Аксакову удалось добиться издания своей собственной газеты «Пахарь», но ее постигла такая же печальная участь, как и «Московский сборник» — на втором номере газета была запрещена. После поездки за границу Аксаков в 1861 г. добился снова разрешения издавать газету. Это и была тот «День», который имеет в виду М. Е. Щедрин. «День» издавался с 1861 по 1865 г. После закрытия «Дня» Аксаков последовательно издавал «Москву» (с 1867 по 1868 г.), «Москвича» и «Русь» с 1880 г. Состоя с 1874 г. председателем Московского купеческого общества взаимного кредита, Аксаков благодаря своей общественной и политической деятельности в Славянском комитете (основан в 1858 г.) во время русско-турецкой войны (в 1877—1878 гг.) приобретает европейскую известность своими речами и выступлениями в защиту славянской идеи. О силе, влиянии и значении Аксакова в известных кругах можно судить по тому, что на его похороны собралось более ста тысяч народа и было получено более 160 телеграмм, начиная от великих

княгинь и К. П. Победоносцева и кончая учеными обществами, земствами и учащимися.

Не касаясь сущности всего славянофильства, остановимся на аксаковском «Дне», с которым полемизирует Щедрин. Это нам в высшей степени необходимо и для определения позиции самого сатирика.

В «Дне» писали все виднейшие славянофилы того времени — сам И. С. Аксаков, Д. Ф. Самарин, Кошелев; печатались статьи Константина Аксакова, А. С. Хомякова, помещались ученые заметки и работы М. О. Кояловича, М. А. Максимовича, П. Н. Рыбникова, И. В. Беляева, давал туда статьи и В. Буренин и, что самое важное, печатались многочисленные статьи, заметки и корреспонденции помещиков крупных и мелких, можно без преувеличения сказать, из всех местностей России: из центра, из нынешней Украины и Белоруссии, из Польши, с Урала, Дона, Юга, Кавказа и из далекой Сибири. Хорошо был связан «День» и с южными славянскими странами.

Необходимо подчеркнуть, что «День» отзывался на все важнейшие политические, экономические и культурные вопросы эпохи.

В передовой статье № 2 1862 г. программа «Дня» определяется так: вопрос крестьянский, дворянский («уничтожение себя как сословия»), коренное преобразование государства, согласное с волей народа, вопрос о свободе совести, вопрос о народном образовании.

Как же «День» понимал все эти вопросы? Разрешая крестьянский вопрос, отказывался ли он от того существенного, что хотя и по-новому, но все же оставляло дворянству его первенствующее положение?

С первого взгляда как будто казалось, что славянофилы «Дня» в своих передовых статьях готовы были снять с себя рубашку и надеть ее на крестьянина. Так в передовой статье № 1 за 1862 г. «День» заявляла, что прежде покоившееся на рабском даровом труде дворянство ныне должно раствориться в земстве и стать его интеллигенцией.

Но тут же, в той же статье, разъяснялось, что это значит: дворянство «исчезает» в сословии землевладельцев, при чем эти землевладельцы берут себе львиную долю крестьянской земли, а за ту землю, что перешла к крестьянам, получают денежки. Как бы ни рассматривать все lamentации и исчисления Д. Ф. Самарина, Кочубея, Кошелева и других сотрудников «Дня» в том или другом направлении крестьянской реформы, важно одно: ни от львиной доли земли, принадлежавшей по сути крестьянству, ни от денег за освобождение помещики-славянофилы не отказывались. В этом отношении между самым свободолобным славянофилом и самым крайним реакционером различие было только количественное, а не качественное.

Никакого ясного представления о классовой структуре общества у славянофилов конечно не было. По их мнению, общество «образуется из людей всех сословий и состояний — аристократов самых кровных и крестьян самой простой породы, соединенных общим уровнем образования»; они конечно прекрасно понимали, что простой крестьянин, равный помещику по образованию, уже не простой крестьянин, и потому прибавляли, что общество обществом, а кроме того есть еще и «народный организм», составляющийся из трех сил: простого народа, государства и общества.

В высшей степени важно, что, трактуя об обществе, писатели «Дня» очень любят вместе с тем затрагивать самые злободневные вопросы эпохи — выкупную операцию, торговлю, промышленность, железные дороги и прочие отрасли хозяйства.

Трактуя эти вопросы, они никогда не забывают своих дворянских, землевладельческих интересов. Так, рассуждая о финансовом положении России, автор передовой статьи в № 14 «Дня» от 13 января 1862 г. говорит о том, что фабрики и заводы, насаждавшиеся будто бы у нас искусственно и насильственно, выделяли ненужные народу продукты, и видит главный недостаток промышленности в том, что «и в области материальной, промышленной, мы больше выписывали и покупали от Запада, чем отпускали ему своего добра, о котором мы вовсе и не радели».

Нужно, стало быть, такую промышленность, которая помогла бы помещику продавать свое добро за границу; и не только за границу, но и внутри страны. Недостаток старой промышленности, по мнению автора статьи, в том, что она работала для верхов общества, теперь она, потребляя продукты помещичьего хозяйства, должна работать для широких слоев общества. Но для этого нужны капиталы и крестьянину, и помещику. Есть ли они? У крестьян бесспорно есть. Писатели «Дня», любят об этом распространяться. Говорит об этом и упоминаемый Щедрин Оптухин в № 7 «Дня», говорит об этом и во многих корреспонденциях, например, в заметке из Оренбурга. «Да и как не быть деньгам у народа? — восклицает автор передовой. — Посетивши в 1855 и 1856 году южные губернии, бывшие театром военных действий (впрочем не самый Крым), мы с изумлением видели, что крестьяне сделали значительные денежные сбережения от массы денег, растрченных войною. Дале. Куда девались капиталы наших капиталистов? Большею частью помещены в акциях разных промышленных акционерных компаний... Эти затраченные миллионы разместились теперь по крестьянским сумам. Колесо сделало только половину оборота — и снесло и втоптало деньги в зем-

лю, но при возвратном обороте он снова извлечет эти деньги, уже десятирицею, и пустит их во всеобщее обращение».

Здесь так и чувствуется автор работы об украинских ярмарках, как чувствуется здесь и то, что славянофил ставит свою ставку на крепкого крестьянина, на кулака.

Это подтверждается и множеством других статей. Были даже такие славянофилы, которые, исходя из мысли, что деньги — у крестьянина, предлагали правительству строить даже железные дороги на эти кулацкие деньги, для чего следует только выпустить мелкие облигации, которые купит и рабочий, и крестьянин. Капиталистическим частным компаниям постройку железных дорог отдавать не следует, так как тогда правительство будет в зависимости от капиталистов, а вот если выпустить мелкие облигации, то правительство получит опору в крестьянине и, значит, в землевладельце. Но откуда же возьмет денег землевладелец? Автор передовой в № 14 от 13 января 1862 г. отвечает: от выкупной операции. Только выкупную операцию нужно проделать так, чтобы вместо выкупных свидетельств помещики «получили выкупную сумму обыкновенными бумажными деньгами; такой выкуп и правительство бы укрепил и способствовал бы образованию необходимых для помещиков капиталов, предназначенных на расходы вполне производительные».

«День» — против образования партий в России, он точно так же находит вредным образование среднего сословия, т. е. буржуазии, не понимая того, что не только тот крупный капиталист, у которого славянофил получает деньги за свою рожь, но и тот крестьянин, у которого остались от войны деньги, — кулак — и есть то самое среднее сословие, та крупная и мелкая буржуазия, от каких он отрешивается на словах. (См. передовую, № 24 за 1862 г.)

Какой же процесс отражали эти славянофильские идеи объективно?

Об этом достаточно ясно, хотя и в риторической форме, говорят статьи самого «Дня».

«Потребно немалое мужество для всякого отдельного деятеля, чтобы покориться скупой судьбе и ограничиться насущной скромной потребностью, зл о б о й, д о в л е ю щ е й д н е в и, чтобы отказаться мечтать о черной буре и солнечном блеске, о борьбе, потешающей молодые силы, и не менее животворном мире, о красивых поражениях и победных торжествах — и довольствоваться скудным путем исторической постепенности, историческим сереньким днем с его полубелым матовым светом, трудом невидным, чернорабочим и невеселым, не борьбой и не миром, чем-то средним между поражением и победой...» (Передовая № 1 за 1862 г.).

Эта метафора об «историческом сереньком дне» означала не что иное, как отказ от всякой борьбы с «дарующим» злом: «не переворот совершается у нас в России, а перерождение».

Переводя все это на социально-экономический язык, отбрасывая все славянофильские украшения на тему о земских соборах, нравственном начале, единении с народом, мы должны сказать, что и «День», и все славянофилы шли полным ходом на прусский путь развития России.

Отсюда становится понятной и та борьба с материализмом, какую вели славянофилы «Дня», и та ненависть, какую питали они к революционной молодежи, к нигилистам, и тот бешеный шовинизм, с каким славянофилы «Дня» отнеслись к польскому восстанию.

«Что материализм и общественная свобода, — писали публицисты «Дня» в статье «Два слова о материализме и общественной свободе», — два начала несовместимые и противоположные, — это можно было вывести логически, а priori, всякому знакомому с учением Бюхнера, Молешота и К^о.» (Передовая № 11 от 16 марта 1863 г.) Они не останавливались даже против клеветы на материалистов, изображая их самыми крайними сторонниками деспотизма.

«Последовательные материалисты, — говорилось в передовице № 11 от 16 марта 1863 г., — если только последовательность возможна, должны в развитии своем непременно испытывать сочувствие со всеми материальными и грубыми силами, действующими в политической жизни обществ, и составить со временем отличный материал для полицейского контингента всякой деспотической власти. Поставьте во главе управления человека, отвергающего достоинство духа человеческого и нравственное уважение к человеческой личности, и вы увидите, что он явит в себѣ такого деспота, пред которыми поблдеют все деспоты древних времен».

Пускай «Московские Ведомости» и «Русский Вестник» Каткова, «Наше Время», Б. Н. Чичерин и орган министерства внутренних дел «Северная Почта» не соглашались на «самоуничтожение» дворянства и даже добивались кар на головы редактора «Дня», суть дела не менялась. И «День», и «Современная Летопись», с ним солидарная, в основном, в главном, сходились со своими противниками: поевский, а не революционный путь развития. (См. «Северная Почта» от 12 января 1862 г.)

³ Русляндия. — Салтыков имеет в виду следующее место из передовой статьи в № 19 «Дня» за 1863 г. от 11 мая... «Из-за официальной России, или, как выражаются некоторые, Русляндии, выглядывает и выдвигается порою Русь, с ее древним духов-

ным и бытовым строем, — и она-то спасала всякий раз русскую державу, и спасет еще не раз, с божьей помощью! Внешнему врагу ее не сокрушить; войсками ее не одолеть, война, вызывая ее к жизни и бодрости, дает ей только новую силу и плотность... Народной Руси вреднее всего наше отступничество от русской народности, наше ненародное общество и все то, что поистине может назваться «Русляндией» и «русляндами».

⁴ Щедрин имеет в виду следующие строки о форрейторе (стр. 136) в № 15 «Дня» от 27 января 1862 г.: «Представьте себе, читатель, громадную тяжело нагруженную колымагу, медленно движимую по грязной, топкой дороге, шестериком здоровых, крепких, но несколько ленивых коней и тройкою выносных или передовых, на одной из которых усердно беспокоится бойкий форрейтор. Колымага то и дело вязнет в глубоких колеях, колеса упираются в рытвины или наворачивают на шины целые пуды грязи; лошади, ощупью отыскивая твердой опоры для копыт, беспрестанно оступаются и проваливаются. Пришлось, наконец, подниматься на гору, за которую, по рассказам, дорога становится лучше. Чтобы одолеть этот подъем, нужно бы дружным усилием всех девяти коней подхватить и вывезти колымагу, но не тут-то было! Беспокойный форрейтор, ударив своих лошадей не во-время, так натянул постромки, что они лопнули; колымага с шестериком засела в трясине, на самом взлобе дороги, а форрейтор, с своими выносными конями, ускакал вперед! И скачет форрейтор, не оглядываясь, все вперед, да вперед; скачет, не слыша отчаянных криков увязнувшей колымаги, не разбирая дороги, — целиком по полям и нивам, через ручьи и овраги, — не заботясь об экипаже, да и не соображая, что во всяком случае грузный экипаж так скоро мчаться не может; скачет, предводительный собой и своей быстрой ездой, и в пылу погони за блуждающими огоньками, воображает, что везет колымагу к настоящему путеводному свету!»

«Мы только подробнее и пространнее начертили образ, на который еще покойный П. В. Киреевский указывал для характеристики просвещения Польши в XVIII веке; но едва ли еще не с большею верностью может он послужить как сравнение для самой России. Эта тяжело нагруженная колымага с шестерней добрых коней — не наша ли земля с ее материальными и духовными богатствами, не народ ли, оставшийся позади, без средств к просвещению и внешнему преуспеянию, народ, от которого оторвались верхние слои общества?.. Этот форрейтор, так шибко скачущий потому что не тащит за собою никакого груза, — не мы ли, так называемое образованное общество, мчавшееся во весь опор верхом на цивилизации, подгоняющее ее татарскою нагайкою работы немецкого мастера, скачущее к прогрессу не столбовой дорогой, а какими-то особыми кривыми путями вне всяких исторических условий? Эти блуждающие огоньки не те ли «идеи века», за которыми так безразборчиво гоняются наши прогрессисты?»

⁵ Чичерин, Б. Н. (1828—1904) — известный ученый, философ, либерал, общественный деятель, профессор Московского университета и городской голова. Автор многочисленных работ.

⁶ Аксаков, И. С., см. примечание 2.

⁷ Катков, М. Н. (1818—1887) — выдающийся русский публицист реакционного направления: В молодости по окончании университета вращался в кружке В. Г. Белинского, М. А. Бакунина. Разошелся с Белинским, эволюционируя вправо как в философии от Гегеля к Шеллингу, так и в политике к консерватизму. С 1848 г. стал профессором философии в Московском университете, с 1851 г. редактором «Московских Ведомостей» и с 1856 г. — своего собственного журнала — «Русского Вестника». С этого времени Катков окончательно эволюционировал к монархизму и превратился в яростного защитника монархических и дворянских устоев, а оба его органа — олотом самой черной реакции. Руководя этими органами, он приобрел большое влияние в высших сферах правительства и играл большую роль в русской политике, был близок с государственным канцлером Горчаковым и др. сановниками. В 60-е, 70-е и 80-е годы Катков вел яростную борьбу с прогрессивными и особенно радикально-социалистическими элементами общества, создав целую школу лакействующей журналистики.

⁸ Краевский, А. А. (1810—1889) — один из известных журналистов XIX в., по окончании Московского университета в 1828 г. вступивший в литературу. За свою жизнь он редактировал «Журнал Мин. Нар. Просвещения» с 1834 по 1838 г., а с этого года и издавал следующие органы печати: «Отечественные Записки», с 1863 по 1882 г. газету «Голос», «Литературную Газету», «Русский Иивалид» и «Санктпетербургские Ведомости». Самым выдающимся органом были «Отечественные Записки», где работал великий русский критик В. Г. Белинский и другие видные представители прогрессивного западнического направления.

⁹ Грановский, Т. Н. (1813—1855) — известный русский историк по истории Запада. друг Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского, член кружка западников, гегельянец, с 1839 года профессор Московского университета, блестящий лектор, автор немногочисленных, но талантливо написанных работ в духе школы Гизо и Тьера.

¹⁰ Устрялов, Н. Г. (1850—1870) — профессор Петербургского университета, академик, издатель исторических документов и автор устаревшей ныне «Истории царствования Петра I».

¹¹ Горчаков, М. А. (1798—1883) — светлейший князь, товарищ А. С. Пушкина по лицу, известный русский дипломат (госуд. канцлер по иностранным делам с 1867 по 1882 г.), отличившийся неспособностью к широкой международной политике и пришедший много бед России, в особенности, когда его соперником стал Бисмарк в Германии.

¹² Муравьев, М. Н. (Вешатель) (1796—1866) — декабрист, один из авторов устава «Союза благоденствия», изменник, ренегат, крепостник, реакционер, противник отмены крепостного права, был витебским вице-губернатором, губернатором могилевским, минским и курским, а затем генерал-губернатором Северозападного края, зверский усмиритель польских восстаний 1831 и 1863 гг.

¹³ Олтухин, Л. — автор нескольких статей в «Дне», например в № 11 за 1863 г. «Юридические недоразумения по крестьянскому делу». Щедрин имеет в виду статью в № 31 от 3 августа 1863 г. В ней между прочим есть такое место: «... И они думают (речь идет о поляках. — В. Н.), что Европа будет для них завоевывать чуждый им народ, увидевши на деле его бездонную и необъяснимую к ним ненависть? Да они, пани добродзеи, с ума сошли... нет, тут-то их, ясновельможных, Европа и раскусит, тут и поймет, что они — коллективный Марина Мнишек, бесстыдная государственная блудница, которая из-за власти над чуждым ей народом, из-за пышного титула готова делить ложе с ворами и мошенниками».

¹⁴ Молилари, Густав (1819—1912) — бельгийский ученый, политико-экономист, манчестерец, автор многочисленных трудов с 50-х годов XIX в. сотрудник «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей».

¹⁵ Щедрин имеет здесь в виду статью в № 164 «Московских Ведомостей» за 1863 г. Газета Каткова из патриотических чувств отстаивала направление на Киев (из Москвы), полагая, что приехавший в Петербург англичанин Гоп, родственник английского посланника в России, хочет повлиять на русское правительство провести дорогу на Харьков — Севастополь, захватив таким образом концессией этот крайне важный пункт Крыма в английские руки. «Московские Ведомости» были против этого проекта, несмотря на его экономическое преимущество.

¹⁶ Садовский, П. М. (1818—1872) — великий русский артист Малого театра в Москве, самый выдающийся истолкователь на сцене типов Островского и в особенности Любима Торцова.

¹⁷ Речь идет о статье в «Русском Вестнике» М. Н. Каткова за март 1863 г. «Отзывы и заметки «Что нам делать с Польшей?» Автор говорит здесь об «искусственных конституциях» и между прочим пишет: «Дело благоустройства будет испорчено, если при основании его будет присутствовать та мысль, что верховная власть делает в нем какую-либо уступку из полноты своих прав. Ничего не может быть неразумнее и бедственное такого представления дела, что верховная власть с кучкой крепко держит в своей руке разные льготы и выпускает их неохотно в виде уступки, так что народ как бы выигрывает именно настолько, насколько проигрывает власть. Такой взгляд на отношения власти к народу столько же нелеп, сколько и пагубен; он ставит власть и народ в отношения невозможные, противные природе вещей. А между тем именно такой взгляд присутствует при сочинении фальшивых конституционных комбинаций». «... Как бы ни было организовано представительство, в нем не должно быть и тени мысли, что оно имеет власть издавать законы или что согласно его необходимо верховной власти для издания закона» (стр. 503, 504). «Польский вопрос может быть решен удовлетворительным образом только посредством полного соединения Польши с Россией в государственном отношении».

¹⁸ Этот проект совершенно серьезно выдвигали славянофилы в большой статье в своей газете «Ден» за 1863 г.

¹⁹ Павлов, Н. Ф. (1805—1865) — известный журналист 60-х годов, беллетрист, поэт и критик. В 1863 г. основал «Русские Ведомости», с 1860 по 1863 г. издавал газету «Наше Время» прогрессивного направления. Наиболее известные его произведения — «Именины», «Аукцион» и «Ятаган».

²⁰ Ростовцев, Я. И. (1803—1860) — участник общества декабристов, предатель, участник турецкой войны, один из усмирителей польского восстания 1831 года, председатель редакционных комиссий крестьянской реформы, консерватор, защитник дворянских интересов.

²¹ Громека, С. С. (1823—1877) — бывший жандарм, принимал участие в проведении крестьянской реформы в Польше, участник и сотрудник журналов «Отечественные Записки», «Современник» и «Русский Вестник», а также газеты «С.-Петербургские Ведомости». Щедрин имеет в виду «Заметку для редакции» «Современника» в № 148 за 1863 г., стр. 190—194.